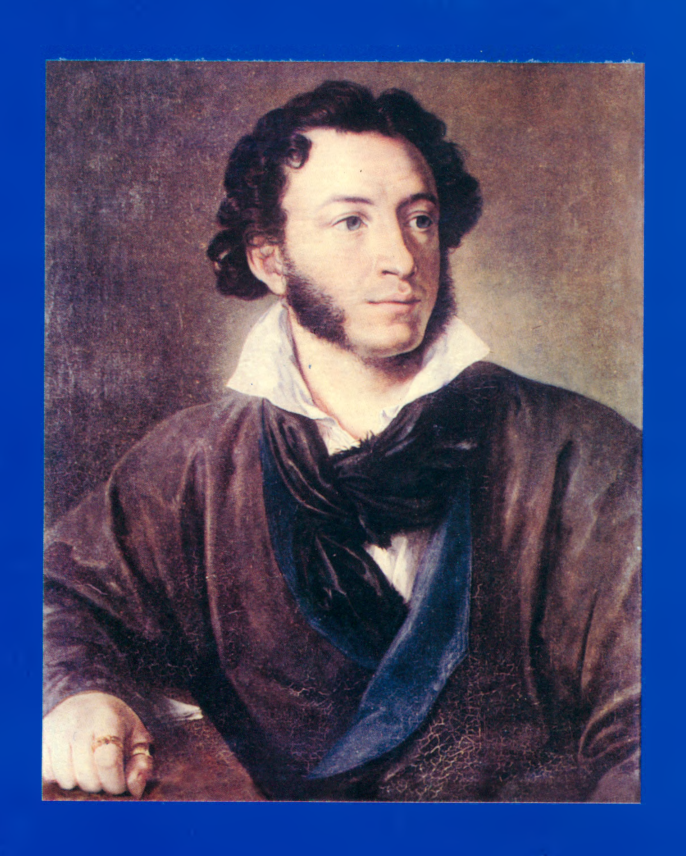


Митрополит Анастасий

(Грибановский)

А. С. Пушкин

ПУШКИН
В ЕГО ОТНОШЕНИИ К РЕЛИГИИ
И ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Митрополит
АНАСТАСИЙ (ГРИБАНОВСКИЙ)



Пушкин



В ЕГО ОТНОШЕНИИ К РЕЛИГИИ И ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ



ОБИТЕЛЬ ПРЕП. ИОВА ПОЧАЕВСКОГО
В МЮНХЕНЕ
1999

Напечатано
к 200-летию со дня рождения
А. С. Пушкина

по благословению
Преосвященного Марка,
Архиепископа Берлинского и Германского
Русской Православной Церкви Заграницей

ISBN 3-926165-86-3
«Metropolit Anastasij (Gribanovskij) – Puschkin»

Printed in Germany



Александръ Пушкинъ

Е. И. Гейтман. Александр Сергеевич Пушкин в молодости. 1822.

Не установлено, по какому изданию (или изданиям) митр. Анастасий цитировал пушкинские стихи. В некоторых случаях использована самая ранняя редакция, в других – более поздняя. Поскольку объем и задачи данного издания не позволяют дать подробные текстологические справки и примечания, пушкинские цитаты приводятся в том виде, как дает их автор настоящего очерка. Издатель.



Когда 29 января 1837 г. скончался Пушкин, вся Россия облеклась в траур. Поминая его ныне сто лет спустя *, мы совершаем свой национальный праздник, который разделяет с нами весь мир. Так смерть явилась для него началом бессмертия. Каждый великий народ имеет своего великого поэта, являющегося высшим выражением его творческого духа. Мы должны быть вечно благодарны Провидению, пославшему нам такого человека в лице Пушкина. По всеобъемлющей силе своего дарования, по благоухающей красоте своей поэзии, по богатству, гибкости и выразительности языка и тонкому чувству гармонии и меры, проникающему все его творчество, он стоит наравне с величайшими художниками мира.

Поэт и творец Божией милостью, он сам явился Божией милостию и благословением для Русской земли, которую увенчал навсегда своим высоким лучезарным талантом.

Истинный гений бессмертен. Он не знает над собою закона забвения и давности. Целое столетие уже отделяет нас от смерти нашего великого поэта, но он жив в каждом из нас. Если бы можно было разложить наш внутренний мир на его составные части, то в этой сложной психологической ткани мы нашли бы много

* Выход в свет настоящего очерка (в 1937 г.) был приурочен к столетию со дня смерти великого поэта.

золотых нитей, вплетенных в нее мощным Пушкинским гением, ставшим неотъемлемой частью нашего духовного существа.

Сколько поколений воспитывалось на нем, приникая к родникам его творчества, и однако он остался неисчерпаемым, как океан, и даже как будто растет и расширяется для нас вместе со временем.

Его дарование лилось, так сказать, через край, как вода из переполненного сосуда. Прожив на земле только 37 лет, он успел оставить нам такое духовное наследство, что оно обогатило нас на все века и сделало его неумирающим учителем и вдохновителем для всех последующих поэтов и писателей. Он, как великан, возвышается над ними и, как великан, питает их своею кровью. И Гоголь, и Толстой, и Достоевский родились от его великого духа, воспламененные огнем его творческого вдохновения. Его мысль проникает во все области человеческого духа, озаряя их ярким светом, как молния. Сросшаяся с нею органически художественная форма делает ее особенно яркой и выпуклой. Его стих – это пышная царственная одежда, блистающая чистым золотом и самоцветными камнями. Он ласкает не только наш внешний, но и внутренний слух, доказывая тем, что Пушкин и мыслил музыкально, как подобает истинному поэту. Подобно всем великим гениям, он поднялся на такую высоту, откуда он светит всему миру и где национальное уже претворяется в общечеловеческое.

Пушкин есть «всечеловек» по преимуществу, как ощутил и определил его в свое время другой великий русский писатель Достоевский. Однако он плоть от плоти нашей, кость от костей наших; в нем каждый из русских людей невольно опознает самого себя и это

только потому, что он воплотил в себе всю Русь, которую возлюбил всем сердцем. Все, что украшает русскую народную душу – равнодушие к суетным земным благам, тоска по иному лучшему граду, неутолимая жажда правды, широта сердца, стремящегося обнять весь мир и всех назвать своими братьями, светлое восприятие жизни, как прекрасного дара Божия, наслаждение праздником бытия и примиренное спокойное отношение к смерти, необыкновенная чуткость совести, гармоническая цельность всего нравственного существа – все это отразилось и ярко отпечатлелось в личности и творчестве Пушкина, как в чистом зеркале нашего народного духа.

Богатство его державного русского языка ни с чем не сравнимо. Как некий царь, он рассыпает перед нами свои словесные перлы, полные блеска, изящества и вместе и благородной простоты, чуждой всякой напыщенной искусственности.

Пушкин ко всему подходит просто и естественно, как это искони свойственно русскому сердцу. У него нет предвзятых тенденций, как у Толстого и Достоевского, стремящихся подчинить им своего читателя. Он не пытался насиловать свой талант и не «мудрствовал лукаво»: поэтому ему открыто было более, чем комулибо из других наших поэтов. Он берет всю действительность такою, «какою Бог ее дал». Он созерцает и зарисовывает ее картины спокойно и объективно, как истинный художник. Отсюда какая-то детская непосредственность, ясность и чистота его созерцания, акварельная легкость и прозрачность его рисунка, делающая его творения одинаково доступными всем возрастам. Мы воспринимаем его образы так же просто и непосредственно, как саму природу. Это и есть та про-

стота гениальности или гениальность простоты, какая особенно свойственна нашему поэту.

Вместе с художественной правдой Пушкин ищет везде и правду нравственную, ибо одна неотделима от другой. Он всегда стремится быть искренним и с самим собою, и с своим читателем, что также составляет печать гения, как сказал еще Карлейль. Искренность сердца, издавна присущая русскому человеку, порождает в нем и другую чисто русскую черту – смирение. А смирение возвышает его и самое его творчество, к которому он питал какое-то высокое, поистине религиозное благоговение. Он не только не превозносился своим гениальным дарованием, а скорее смирялся перед его величием. Вдохновение, посещавшее его в минуты поэтического озарения, приводило его в священный трепет и даже «ужас», он видел в нем «признак Бога», озарявший, очищавший и возвышавший его душу. Внемля «сладким звукам» небес и созерцая сияние вечной божественной красоты, он подлинно в эти минуты «молился» сердцем, и свободный и счастливый радовался своему духовному полету, возносившему его над всем миром.

Только такое трепетное отношение к данному ему свыше таланту могло внушить ему стихотворение «Пророк», которое справедливо считается одним из величайших его творений по силе художественного и духовного проникновения. Пушкин заимствовал свой образ из книги пророка Исаии, он глубоко и искренно воспринял его в свое сердце, приложив его к своему собственному поэтическому призванию. Поэт, по мысли Пушкина, как и пророк, получает свое помазание свыше и очищается и как бы посвящается на свое служение тем же небесным огнем. Столь же высоки и

нравственные обязательства, возлагаемые на него его исключительным дарованием: он должен быть орудием воли Божией («исполнись волею Моей») и своим вдохновенным глаголом жечь сердца людей. На такую высоту религиозного созерцания вознес Пушкина его светлый гений. Таков, впрочем, искони характер истинной поэзии: она всегда была «религии небесной сестра земная», как сказал некогда Жуковский. Родившаяся из религиозных гимнов, она продолжает звучать высокими небесными мелодиями и тогда, когда перестала служить непосредственно религиозным целям. Ее сфера – это идеальный мир, полного воплощения которого нельзя найти на земле; здесь нам сияют только его отдаленные отблески. Устремление к горним высотам и вечному солнцу истины и красоты и составляют подлинную душу поэзии: это есть «Божественный пафос» по слову Белинского, в котором наше сердце бьется в один лад со вселенной, в котором земное сияет небесным, а небесное сочетается с земным.

Чем ярче и светлее был поэтический дар Пушкина и чем бережнее и совестливее он относился к последнему, тем более он был чуток к «прикосновению Божественного глагола» и тем глубже сознавал свое призвание, как божественное посланничество и своеобразное «пророчество», совершающее свою «священную жертву».

«Сны поэзии святой» представлялись ему как бы некоторым откровением, посещавшим его по особому велению свыше, помимо его собственной воли.

Муза – это поэтическое олицетворение его творческого дара – слетала к нему, как некая таинственная чудесная гостья, «оживляя» его свирель «божественным дыханием и сердце исполняя святым очарова-

нием». Эпитеты «божественный и святой», которыми так часто пользуется Пушкин в применении к своему поэтическому вдохновению, не были только красивой метафорой: в них скрывается глубокий сакраментальный смысл, подлинное ощущение духовной связи поэта с иным потусторонним миром. Не напрасно он требовал от своей музы такой отрешенности от мира, при которой она оставалась бы всегда только «велению Божию послушной», приемля равнодушно «хвалу и клевету» людей.

Таков был наш великий поэт на вершинах своего творчества: он подлинно был тогда религиозен, переживая какое-то особое, трепетное мистическое состояние, невольно передающееся каждому из нас при чтении его наиболее глубоких и проникновенных творений.

Но Пушкин был не только поэт, но и человек и потому ничто человеческое не было чуждо ему. Спускаясь с горних творческих высот и погружаясь в заботы и наслаждения «суетного света», он утрачивал свой дар духовного прозрения. Его обескрыленный ум, еще недостаточно дисциплинированный в юности, но отравленный в значительной степени ядом вольтерианства, не мог тогда собственными силами осмыслить мировую жизнь и разрешить все сложные загадки бытия. Отсюда началась для него трагедия оскудения веры, какую так глубоко изобразил он в своем раннем стихотворении «Безверие». Его мучила особенно тайна смерти, неразрешимая без утешительного света религии.

Он считал, однако, такое нравственное состояние ни чем другим, как болезнью души и потому призывал снисходительнее и участливее относиться к тем,

кто «с первых лет безумно погасил отрадный сердцу свет».

Неверующий сам в себе носит свою кару:

«Кто усладит души его мученье?
Увы, он первого лишился утешенья!»

Постоянное возбуждение, поддерживаемое в нем пылом «африканских» страстей, неудовлетворенностью своим материальным положением, столкновениями с правительством и враждебными ему критиками, всего менее способствовали спокойной работе его испытующей мысли, искавшей выхода на истинный путь. В такие моменты временно как бы помрачался его светлый гений, и его гармоническая лира издавала диссонирующие звуки. Будучи «зол на весь мир», он рад был бросить вызов и правительству, и обществу резкими и желчными литературными выступлениями и другими легкомысленными поступками, приводившими в отчаяние как его отца и других родственников, так и его покровителей и друзей – Карамзина, Жуковского, Вяземского, Тургенева. Под таким настроением душевной дисгармонии и рождались обыкновенно его язвительные политические памфлеты, эпиграммы и кощунственные стихотворения, оскорблявшие религиозные чувства верующих и стяжавшие ему печальную репутацию безбожника, от коей его имя не может освободиться даже до настоящих дней.

Однако неверующим его могут считать только люди тенденциозно настроенные, которым выгодно представить нашего великого национального поэта религиозным отрицателем, или те, кто не дал себе труда серьезнее вдуматься в историю его жизни и творчества.

Уже по одному тому, что наиболее вменяемые Пушкину «кощунства» – *«неизменно шуточные»**, по справедливому замечанию Ходасевича, «а не воинствующие», что «их стрелы не ядовиты и не глубоко ранят» (С. фон Штейн, «Пушкин – Мистик», стр. 29) следует признать, что они были скорее случайной вспышкой озлобленного ума или просто легкомысленной игрой воображения юного поэта, чем его внутренним сознательным убеждением: они скользили по поверхности его души и никогда не имели характера ожесточенного богоборчества. Рассматриваемые с точки зрения того времени, его «кощунства» не выходили из уровня обычного для этой эпохи неглубокого вольнодумства, бывшего бытовым явлением в русском образованном обществе конца XVIII и начала XIX века, воспитанном в идеях Вольтера и энциклопедистов. Пушкин заплатил в этом отношении дань духу своего века не больше, чем другие его современники, но если его вольные стихотворения обращали на себя большее внимание, то именно потому, что они отвечали общему настроению умов и что он сам был слишком заметен среди других рядовых людей, вследствие чего каждое его слово разносилось эхом по всей России. В этом случае ему оказывали часто плохую услугу не только его враги, но и нескромные друзья, повсюду распространявшие его творения. Лично он не был склонен заниматься активной пропагандой безбожия: об этом свидетельствует тот исторический факт, что он не только не пытался предавать печати свои соблазнительные стихотворения, но стремился всячески изъять их из обращения даже в рукописных их копиях, стыдясь их

* Здесь и далее курсив авторский.

легкомысленного содержания и желая пресечь все пути к их распространению в широком обществе. Бартенев сообщает со слов современников поэта, что он особенно раскаивался в своей известной кощунственной поэме, написанной на евангельский текст, «всячески истребляя ее списки, выпрашивал, отнимал и сердился, когда ему напоминали о ней. «Уверяют, – пишет Бартенев, – что он позволил себе сочинить ее только из молодого литературного щегольства. Ему хотелось показать своим приятелям, что он может в этом роде написать что-нибудь лучше Вольтера и Парни» (Вересаев, «Пушкин в жизни»). По словам кн. Урусова он без сожаления сжег, по совету своего товарища кн. Горчакова и при его содействии, составленную им в подражание Баркову поэму «Монах», которая могла бы оставить пятно на его памяти (у Вересаева стр. 31).

Нельзя преувеличивать значение вызывающих антирелигиозных и безнравственных литературных выступлений Пушкина также и потому, что он нарочито надевал на себя иногда личину показного цинизма, чтобы скрыть свои подлинные глубокие душевные переживания, которыми он по какому-то стыдливому целомудренному внутреннему чувству не хотел делиться с другими. В этом можно убедиться из характеристики, какую дают ему многие из наиболее беспристрастных и наблюдательных современников. Казалось, он домогался того, чтобы другие люди думали о нем хуже, чем он есть на самом деле, стремясь скрыть «высокий ум» «под шалости безумной легким покрывалом». В этой черте его характера некоторые исследователи (напр. проф. Франк) справедливо видят проявление некоторого юродства, этой типичной особенности русской народной души, нашедшей себе место и в характере на-

шего великого национального поэта. Впрочем нельзя отрицать и того, что в нем иногда жили как бы два человека, находившихся в трагической борьбе между собой. Лучшая часть его природы звала его к «Сионским высотам», а «грех алчный гнался за ним по пятам». Источником его искушений, по признанию самого поэта, был умный дух – Демон, начавший «навещать» его в его юные годы, чтобы помрачать его высокие и святые идеалы и вносить расстройство в его гармоническую поэтическую душу.

«Печальны были наши встречи», признается потом с сожалением поэт,

«Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу сладкий яд.
Неистощимой клеветою
Он Провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою
И вдохновенье презирал.
Не верил он любви, свободе,
На жизнь насмешливо глядел –
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел» *.

Когда впоследствии в минуту раскаяния поэт «с отвращением читал жизнь свою», «трепетал и проклинал», «горько жаловался и горько слезы лил», желая как бы смыть ими навсегда «печальные строки»

* Это глубокое стихотворение навеяно было Пушкину скептическим образом А. В. Раевского, с которым он поддерживал тесную дружбу так же, как Гете в свое время нарисовал своего Мефистофеля с одного из своих друзей. Лермонтов использовал его для своей знаменитой поэмы «Демон», которого он изображает теми же чертами.

прошлого, то, может быть, он разумел здесь и эти внушенные ему «Демоном» вольные соблазнительные стихи, как и многое другое из произведений его незрелой юности, что он считал недостойным его таланта и хотел бы после «уничтожить».

Переживая мучительный кризис от своих сомнений, он болезненно искал выхода из этого положения, стремясь прояснить для себя окутывавший его туман и ища для себя точки нравственной опоры. Он чувствовал, что без идеи Божества все его мировоззрение становится зданием без фундамента, но его роковая ошибка состояла в том, что он сначала только «умом искал Божества». Неудивительно, что «сердце», как казалось поэту, «не находило его», так как одни отвлеченные умствования без живой веры не могли дать ему покоя и удовлетворения.

В своих беспокойных исканиях он бросался, так сказать, во все стороны и черпал из всех источников религиозных знаний не только положительных и здоровых, но и отрицательных, способных только усилить его духовную жажду. Наиболее острый момент его душевного кризиса совпал по-видимому с днями его пребывания в Кишиневе и Одессе (1821–1824 г.г.). Углубляясь в изучение Библии, читая внимательно Коран, беседуя в Одессе с интересом с религиозным мыслителем и писателем Струдзою, он встретился здесь же и с «глухим философом» англичанином Гетчинсоном, от которого стал брать уроки «чистого», т. е. теоретического атеизма. Об этом он сам сообщает в письме своем к неизвестному своему другу, жившему в Москве, письме, озакавшем столь важное влияние на его последующую судьбу и вызвавшем его новую ссылку в Михайловское. На этом роковом письме и базирует-

ся главным образом доныне обвинение Пушкина в безбожии. Надо, однако, внимательно читать его собственные слова, чтобы сделать из них ясный и точный вывод. Проф. Франк справедливо отмечает, что 1) Пушкин считает своего учителя англичанина «единственным умным “афеем”, которого он встретил» (другие очевидно не заслуживали такого наименования), 2) «система его мировоззрения не столь *утешительна*, как обыкновенно думают», «хотя к несчастью более всего правдоподобная». Надо подчеркнуть и это последнее слово, как свидетельствующее о том, что эта *безотрадная* система казалась поэту только *правдоподобной**, но отнюдь не несомненной. Следовательно, она не разрешала всех его сомнений, хотя и могла временно повлиять на направление его мыслей (С. Франк. «Религиозность Пушкина», Путь № 40, стр. 28). Что она не покорила всецело его ума и сердца, об этом говорит его признание в том же письме, что «Дух Святой» т. е. слова Библии, ему «иногда по сердцу», т. е. доставляли ему духовную усладу. Такого духовного созвучия с Библией не могло быть у убежденного атеиста, для которого ненавистно само имя Божие, он бежит от него, как Мефистофель от креста, будучи способен только хулить все высокое и святое. Холодное отрицание не могло вообще захватить вполне Пушкина уже потому, что оно опустошает душу, суживает умственный горизонт и иссушает родники всякого и особенно поэтического творчества, а поэтическое вдохновение было для него священным призванием и украшением его жизни, это была душа его души.

* Здесь и выше курсив автора.

Увлекшись на короткое время чисто теоретически отрицательными уроками англичанина философа, Пушкин потом отрекся от своего «легкомысленного суждения относительно афеизма» (Прошение на Высочайшее имя, т. е. Императора Николая I в 1826 г.), которое он ранее в своем «Воображаемом разговоре» с Императором Александром I назвал прямо *«школьнической шуткой»* и удивлялся, как можно было «две пустые фразы» дружеского письма рассматривать как «всенародную проповедь». Это признание несомненно было искренним, потому что оно повторяется и в некоторых его письмах к друзьям. В одном случае он прямо называет сказанное им об атеизме – «глупостью», а в письме к Жуковскому «суждением легкомысленным и достойным всякого порицания».

Уроки неверующего наставника не могли оставить в нем глубокого следа, так как его трезвый проницательный ум не мог не понять, что «сумма вероятностей атеизма сводится к нулю, а нуль только тогда имеет реальное значение, когда пред ним стоит цифра. Этой-то цифры и не доставало моему профессору атеизма». Изучая вместе с англичанином Локка, он обратил особенное внимание на высказанную последним мысль, что «вопрос веры превосходит разум, но не противоречит ему» (Записки А. О. Смирновой, из записных книжек 1826–1845 гг., СПб, 1894, стр. 161–162). Впрочем и сам учитель Пушкина Гетчинсон был повидимому далеко не убежден в том, что проповедывал другим: через пять лет он был уже ревностным пастором в Лондоне.

Очень характерно, что в письме своем к Казначееву, правителю дел гр. Воронцова, Пушкин, уже успевший разочароваться в своем наставнике, прямо назы-

вает своего учителя «прощалыгой» (galopin), а его уроки «пошлой болтовней» (См. проф. В. В. Никольского. «Нравственные идеалы Пушкина», Христианское чтение, 1882 г., стр. 50).

Переживая по временам «бурю сомнительных помышлений», Пушкин однако ни в Кишиневе, ни в Одессе не отрывался от общего уклада жизни того времени, где религия и Церковь занимали если не господствующее, то во всяком случае почетное положение.

Вместе с благочестивым своим начальником Инзовым он аккуратно посещал богослужения в Митрополии, исполняя в положенное время и долг говения. Если он и говорит при этом о своем «лицемерии», то это обычный для него язык шутливого юродства и, быть может, скрытого самоосуждения. Он по-прежнему ревниво таит от нескромного чужого взгляда внутреннюю келлию своего сердца. Следующий факт очень характерен в этом отношении.

В Кишиневе по желанию Инзова его посещал иногда для духовных бесед ректор духовной семинарии архим.Ириней. «Раз в страстную пятницу, – рассказывала потом его племянница, – входит дядя в комнату Пушкина, а он сидит и что-то читает. "Чем это Вы занимаетесь?" – спросил дядя, поздоровавшись. "Да вот читаю историю одной статуи". Дядя посмотрел на книгу, а это было Евангелие. Архимандрит Ириней "вспылил и рассердился" и даже обещал подать на него рапорт, не поняв, очевидно, внутренних побуждений, вызвавших такой странный ответ Пушкина. "Зачем Вы так сделали?" – спросил архимандрит, когда на другой день последний приехал к нему с извинением. "Да так, с языка слетело", был простодушный ответ поэта.» (Рассказ П. В. Дединицкой у Вересаева, стр. 125).

В Одессе он особенно любил посещать Пасхальную утреню и звал с собой товарищей *услышать голос русского народа* в дружном одушевленном ответе молящихся на христосование священника: «воистину воскресе» (Погодин у Вересаева, стр. 141).

Для объяснения такой кажущейся двойственности в духовных настроениях Пушкина неизлишне вспомнить рассуждения, какими он сопровождает анекдот о Байроне, который при своем видимом вольнодумстве чрезвычайно дорожил, однако, крестом, подаренным ему одним монахом в Афинах: «Душа человека, – пишет он, – есть недоступное хранилище его помыслов... И как судить о свойствах и образе мыслей человека по наружным его действиям? Он может по произволу надевать на себя личину порочности и добродетели. Часто по какому-либо своенравному убеждению ума своего он может выставлять на показ толпе не самую лучшую сторону своего нравственного бытия, часто может бросать пыль в глаза одними своими странностями. Видно из этого случая, – прибавляет Пушкин, – что вера внутренняя перевешивала в душе Байрона скептицизм, высказываемый им местами в своих творениях. Может быть даже, что скептицизм сей был только временным своенравием ума, иногда идущего вопреки убеждению внутреннему веры душевной».

Нельзя ли видеть здесь личной исповеди поэта, душа которого была созвучна в этом случае характеру Байрона; не напрасно он чувствовал невольное тяготение к последнему, особенно в первый период своего литературного творчества.

Последовательный скептицизм должен был быть органически чужд его душе, проникнутой с детства мистическим настроением. В этом отношении он также

был сын своей эпохи, эпохи великих потрясающих событий, в коих невольно чувствовалось действие неземной Высшей силы, управляющей судьбами народов, торжества идеи Священного Союза, расцвета масонства и широкого увлечения мистической проповедью Лабзина, Крюденер и Татариновой, в которых обнаружилась реакция в отношении к революционному рационализму конца XVIII века.

Мистическое настроение, впрочем, было наследственным в роде Пушкиных. Оно перешло к поэту от его отца Сергея Львовича, библиотека которого была наполнена произведениями мистических писателей того времени (см. С. Штейн, «Пушкин – мистик», стр. 21). Известную долю влияния на него в смысле укрепления этого настроения мог иметь и его благодушный начальник во время Бессарабской ссылки генерал Инзов, которого поэт сам называет «добрым мистиком». Будучи старым масоном, последний был в то же время и преданным сыном Православной Церкви: в Александровскую эпоху то и другое иногда легко уживалось вместе.

Пушкин был суеверен в жизни, как самый простой русский человек. Он верил в народные приметы, в таинственное действие талисманов, в вещие сны и предсказания ворожей и гадальщиц. Особенно глубокое впечатление произвели на него слова, сказанные ему еще в юности немкой гадалкой Кирхгоф о том, что он приобретет большую славу и может погибнуть 37 лет от белой лошади или белой головы. С тех пор всю жизнь избегал он встречи с белокурыми людьми. Автор исследования «Пушкин – мистик», Штейн, видит много мистических струй в самом романтизме Пушкинской поэзии, что не мешало ей оставаться вполне трезвой

и ясной. Устремление к миру таинственного и непостижимого вместе с постоянной мыслью о смерти, сопровождавшей его неотступно всюду, не могли не роднить Пушкина с религиозной стихией, где все обвеяно тайной и обращено к вечности. Однако присущее ему от природы мистическое предощущение потустороннего мира только создавало благоприятную почву для восприятия религиозных идей, но, смутное и неясное по существу, оно не могло само по себе дать ему конечно твердого, обоснованного, законченного религиозного мировоззрения, которого тревожно искала его возвышенная идеалистически настроенная душа, и которое ему пришлось вырабатывать вполне самостоятельно. Он не мог почти ничего получить для прояснения и укрепления своих религиозных взглядов ни из воспоминаний своего детства, прошедшего в атмосфере разлагающих иноземных влияний, ни из преданий своей семьи, никогда не отличавшейся глубокой религиозностью. Еще менее могла дать ему религиозного содержания окружавшая его лицейская и светская среда, потому что сама лишена была последнего.

То, что могла внушить ему его знаменитая няня Арина Родионовна в смысле бытового благочестия, было недостаточно, чтобы утвердить его среди рано проснувшихся искушений разума, а уроки его первого московского наставника в Законе Божием о. Беликова, равно как и лицейских законоучителей, о. Музовского и о. Мансветова (очень строгого), не оставили в нем по-видимому глубокого следа, потому что он никогда не вспоминал о них потом. Процесс его религиозного развития проходил, однако, с изумительной быстротой; он гораздо раньше, чем в свое время Толстой и Достоевский, понял, что без религии жизнь не имеет

смысла и оправдания и что к постройке религиозного мировоззрения нельзя приступать только с таким слабым орудием, каким является наш колеблющийся рассудок: здесь необходимо указание внутреннего духовного опыта, дыхание веры, «инстинкт которой присущ каждому человеку», и прикосновение к родной русской земле, от которой так много заимствовали в смысле своего нравственного воспитания и наши последующие великие писатели.

Происшедший в нем нравственный перелом, озаривший его жизнь и его творчество новым светом, начал проявляться еще в Кишиневский и Одесский период его жизни, но достиг своего полного развития только во время последующего пребывания в тиши Михайловского деревенского уединения. Эта вторая ссылка, приводившая по временам в отчаяние самого поэта, имела для него провиденциальное значение. Почти все его биографы признают, что она способствовала его духовному росту и была в этом смысле столь же благодетельной для него, как для Достоевского заключение в «Мертвом Доме».

Не развлекаясь опьяняющими светскими удовольствиями, поглащавшими почти все его время и внимание в Петербурге, он мог здесь глубже заглянуть в самого себя, в душу простого народа, в заветы и уроки родной истории и внимательнее заняться своим самообразованием. Все это вместе углубило его дух, освежило и расчистило родники его творчества. Здесь он впервые вошел и в живое непосредственное общение с Церковью через братию Святогорского монастыря и окрестное духовенство. Оно началось при нравственно тяжелых для него обстоятельствах. Настоятелю Святогорского монастыря игумену Ионе – старцу святой

жизни, по свидетельству современников, и священнику с. Вороноча, Илариону Михайловичу Раевскому, по прозванию Шкода, было поручено духовное наблюдение за ним ввиду тяготевшего над ним обвинения в безбожии. Тот и другой оказались для него любящими духовными врачами и легко покорили его чуткую отзывчивую душу.

Посещая каждую субботу монастырь, Пушкин научился уважать его настоятеля-подвижника и искренно полюбил о. Шкоду, который сам обычно приезжал навещать его. Об искренней его дружбе с последним свидетельствует бесхитростный рассказ его дочери, недавно сравнительно скончавшейся Акулины Скоропостижновой, записанный с ее слов.

«Подъедет это верхом к дому и в окошко плетью бух. "Поп у себя? – спросит, – а если тятеньки нет, прибавит: скажи, красавица, чтобы беспременно ко мне наведался... Мне кой о чем потолковать с ним надо". Коли нет, да долго не виделся – сердится. "Что он ко мне уже три дня не едет?" Благодетель он наш был, Александр Сергеевич. Однажды возьми и подари папеньке семь десятинок».

На предложение о. Илариона оформить дар, Пушкин сказал: «Никто все равно моего подарка от вас не отнимет». («Разговоры Пушкина», собранные Гессеном и Модзалевским, стр. 62–63).

Этому о. Шкоде он заказал отслужить заупокойную литургию по Байроне, после которой послал просфору кн. Вяземскому.

Особенно ценно было для Пушкина постоянное соприкосновение со Святогорским монастырем, как хранителем заветов старого русского благочестия, духовно питавшем множество людей, черпавших от него не

только живую воду веры, но и духовную культуру вообще. Наблюдая воочию эту тесную нравственную связь народа с монастырем и углубляясь в изучение истории Карамзина и летописей, где развертывались перед ним картины древней аскетической Святой Руси, Пушкин со свойственной ему добросовестностью не мог не оценить неизмеримого нравственного влияния, какое оказывала на наш народ и государство наша Церковь, бывшая их вековой воспитательницей и строительницей.

На почве расширенного духовного опыта поэта и углубленных исторических познаний родился весь несравненный по красоте духовный и бытовой колорит драмы Борис Годунов, которую сам автор считал наиболее зрелым плодом его гения (хотя ему было в то время только 25 лет) и особенно «смиренный и величавый» образ Пимена, которого не могут затмить другие действующие лица драмы. Пимен – это не просто художественное изображение, сделанное рукою великого мастера: это живое лицо, которое трогает, учит и пленяет читателя, подчиняя его своей тихой, кроткой, но неотразимой духовной власти. Он вышел из самого сокровенного горнила творчества Пушкина, который слился с ним в муках духовного рождения, как мать со своим ребенком. Не напрасно он говорит, что «полюбил своего Пимена», плененный сам его духовной красотой. В нем поэт дал самый законченный, самый выпуклый и самый правдивый тип православного русского подвижника, какой только был когда-нибудь в нашей художественной литературе. Он не просто зарисован вдохновенным художником, но как бы высечен из мрамора мощным резцом скульптора, чтобы стать наиболее осязаемым для нас. Не потому ли Антоколь-

ский так легко воплотил его в своей известной статуе, а Достоевский говорил, что об нем одном можно написать несколько томов? Его монолог и его речи, обращенные к бурному Гришке Отрепьеву, полны того бесстрастия, мира и «умилительной кротости, младенческого и вместе мудрого простодушия, набожного усердия к власти Царя, данного Богом, и совершенного отсутствия суетности», которые пленяли поэта в наших древних летописцах.

Пушкин уразумел своим русским чутьем, что здесь запечатлена от века лучшая часть нашей народной души, видевшей в монашестве высший идеал духовно-религиозной жизни. Ее неутомимая тоска по горнему отечеству находила отклик в его собственном сердце, звавшем его туда, «в заоблачную келию, в соседство Бога самого». Уже одним этим своим чудным и возвышенным образом, вышедшим из народной стихии и снова воплощенном в нее гением поэта, он искупил в значительной степени нравственный соблазн, который он мог посеять вышеуказанными своими легкомысленными произведениями.

Рядом с этим неумирающим наставником-иноком, уроки которого вошли в плоть и кровь целого ряда русских поколений, можно поставить только огненный образ «Пророка», представляющий из себя почти единственное явление в мировой литературе, как апофеоз призвания поэта на земле. Замечательно, что он возник у Пушкина не в каком другом месте, а именно в Святогорском монастыре, т. е. в той же духовной атмосфере, которая дала плоть и кровь Пимену.

Вот как совершилось таинство творческого рождения «Пророка» по признанию самого поэта в беседе с О. А. Смирновой. «Я как-то ездил в монастырь Святыя

Горы – чтобы отслужить панихиду по Петре Великом. Служка попросил меня подождать в келье. На столе лежала открытая Библия и я взглянул на страницу – это был Иезекииль (следовало бы сказать Исаия – неизвестно, кому принадлежит эта ошибка – Пушкину или г-же Смирновой, которой могла изменить память). Я прочел отрывок, который перефразировал в "Пророке". Он меня внезапно поразил, он меня преследовал несколько дней, и раз ночью я встал и написал стихотворение».

Высокий подвиг монашества был так близок душе поэта, что он ищет его идеального олицетворения не только среди иноков, но и среди благочестивых жен-подвижниц. Обрисовка последних у него не достигает глубины и силы, какую мы видим в изображении Пимена, но все же оставляет в нашей душе светлое благоуханное впечатление. Такова прежде всего монахиня Изабелла в Анджело, выросшая на католической почве, но близкая Православию по своему духовному облику.

Она была «чистая душой, как эфир» и потому

«Ее смутить не мог неведомый ей мир
Своею суетой и праздными речами».

В своей всеобъемлющей любви ко всему миру она готова своих ближних одарить великими дарами –

«Молитвами души
Пред утренней зарею, в полунощной тиши.
Молитвами любви, смирения и мира,
Молитвами святых, угодных Богу дев,
В уединении умерших уж для мира».

Пушкин проводит свою героиню через горнило тяжелых нравственных испытаний, поставив ее в необ-

ходимость выбирать между сохранением своей чистоты, жертвы которой требовал от нее лицемерный Анджело, и спасением любимого брата. Она нашла в себе, однако, достаточно мудрости и мужества, чтобы сказать своему несчастному брату, что «бесчестием сестры души он не спасет» и, победив силою веры и доброго рассуждения свое искушение, она спасла по воле Божией и брата и себя, выйдя еще более светлой и чистой из ниспосланного ей испытания. С каким-то особенным тихим умилением поэт рисует перед нами потайную келию Бахчисарайского ханского гарема, где скрыта от мира молодая подвижница, решившая сохранить свое целомудрие даже в гареме, укротившая и возродившая своею кротостью своего чувственного и жестокого повелителя Гирея. Вся жизнь ее обвеяна благодатным миром и молитвой.

«Там день и ночь горит лампада
Пред ликом Девы Пресвятой;
Души тоскующей отрада,
Там упованье в тишине
В смиренной вере обитает,
И сердцу все напоминает
О близкой, лучшей стороне.

. . . .

И между тем как все вокруг
В безумстве неги утопает,
Святыню строгую скрывает
Спасенный чудом уголок...»

Ее душа чужда всему земному – она ждет откровения иной лучшей жизни в лучшем отечестве:

«Что делать ей в пустыне мира?
Уж ей пора, Марию ждут
И в небеса на лоно мира
Родной улыбкою зовут...» *

Иноческое горение видно в подвигах «Родрига» во время его пребывания в уединении в пустыне и в сосредоточенном в себе «молчаливом и простом» «Рыцаре бедном».

Быть может, оба эти образа, особенно первый, навеяны Пушкину чтением Четий-Миней, которые у него были в Михайловском и которые он внимательно изучал впоследствии.

Высокая житийная поэзия должна была быть особенно понятна его сердцу. Оттуда ему стали близки «отцы пустынники и девы непорочны», в которых он заставляет нас чтить наших духовных водителей, укрепляющих нас среди «дольных бурь и битв» составленными ими «божественными молитвами»; из последних особенно умиляет поэта великопостная молитва Ефрема Сирина, проникнутая глубоким покаянным чувством, так родственным душе поэта.

Если он умел грешить, делаясь пленником собственных страстей, то умел искренно и каяться в своих падениях, подлинно «окаявая» себя в то время, как это свойственно издавна русскому православному человеку. Живым свидетельством этого служат стихотворения «Воспоминание» и «Воспоминание в Царском Селе» (1829 г.).

Что может быть суровее тех самобичеваний, какими полно первое из них, где он вспоминает напрасно

* В лице Марии изображена дочь одного родовитого польского вельможи, захваченная в плен татарами.

утраченные свои годы «в праздности, в неистовых пирах, в безумстве гибельной свободы». Не менее трогательно и второе, в котором он, подобно блудному сыну, выражает свое сокрушение при мысли о своих напрасных духовных блужданиях после того, как покинул свою Alma Mater, бывшую для него «Отчим домом».

«Так отрок Библии – безумный расточитель –
До капли истощив раскаянья фиал,
Увидев, наконец, родимую обитель,
Главой поник и зарыдал» *.

Ничто не смиряло так его души и не настраивало ее на покаянное чувство, как постоянная мысль о смерти, которую он всегда имел перед глазами, не расставаясь с нею ни среди «улиц шумных», ни на пирах, где он сидел меж «юношей безумных».

Приставленные к нему два таинственных ангела с пламенными мечами не переставали говорить ему «о тайнах вечности и гроба»:

«Летят за днями дни и каждый день уносит
[частицу бытия...
И глядь – все прах: умрем...»

– пишет своей жене в самом расцвете жизни.

«Со времени кончины моей матери, – признавался Пушкин Смирновой, – я много думаю о смерти и уже в первой молодости много думал о ней».

Предчувствие скорой неизбежной кончины находит свое отражение и в последних приветственных стихотворениях лицею по случаю его годичных праздни-

* С блудным сыном сравнил его, как известно, Архиепископ Никанор в своем слове по случаю 100-летия со дня его рождения.

ков. Последнее из них – 19 октября 1836 г. он не докончил и не мог прочитать всего, что было написано. Слезы прервали его голос, и стихотворение дочитал другой.

Потрясающий контраст между священным таинством смерти и легкомыслием людей, способных отдаваться наслаждениям на краю могилы, изображен в «Пире во время чумы». Это, быть может, одна из самых глубоких драм, написанных его рукою. Наиболее трагический момент здесь начинается с тех пор, когда среди пирующих безумцев появляется священник, чтобы обличить их кощунственную вакханалию.

«Безбожный пир, безбожные безумцы!»

– гремит его пророческий голос,

«Вы пиршеством и песнями разврата
Ругаетесь над мрачной тишиной,
Повсюду смертию распространенной!»

Как и всех обличающих пророков, его встречают насмешками, но они не смущают мужественного служителя Евангелия. Исполнив свой долг, он уходит с нечестивого пира со словами мира и любви на устах:

«Спаси тебя Господь!
Прости, мой сын».

– говорит он, обращаясь к председателю безумного собрания.

Никогда смерть не бывает столь тяжким испытанием, как если человек умирает невинным от насильственной руки своего врага. Кто может примирить тогда нас с нею, как не Церковь, напутствующая умирающего в вечную жизнь и дающая ему благодатную силу, умирая, простить своего убийцу.

Этот вопрос трагически поставлен и глубоко раскрыт в описании предсмертных минут Кочубея в поэме «Полтава»:

«Вот он», – говорит этот невинный страдалец, заслышав ключ в замке тюрьмы накануне казни, –

«Вот на пути моем кровавом
Мой вождь под знаменем креста,
Грехов могучий разрешитель,
Духовной скорби врач, служитель
За нас распятого Христа,
Его Святую Кровь и Тело
Приносит мне, да укреплюсь,
Да приступлю ко смерти смело
И жизни вечной приобщусь».

Впоследствии сквозь такой же нравственный искус пришлось пройти самому поэту после дуэли с Дантесом, и он оказался способным победить его только при помощи того же небесного врачевства.

Только в одном случае смерть не внушает нам ни страха, ни ужаса, когда отлетает от этого мира душа невинного младенца. Эту мысль поэт выразил в «Надгробной надписи Кн. А. Н. Голицыну» и в «Эпитафии младенцу Волконскому».

«Отрадным ангелом ты с неба к нам явился,

– читаем мы в первом, –

И радость райскую принес с собою к нам;
Но, житель горних мест, ты миром не прельстился
И снова отлетел в отчизну к небесам».

Не менее умилительна «Эпитафия младенцу Волконскому»:

«В сиянии и в радостном покое,
У трона вечного Творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца».

Оба эти стихотворения озарены яркой верой поэта в бессмертие и в вечную неразрывную связь молитвы и любви между живыми и умершими.

С такими ясными и светлыми словами утешения к скорбящим родителям мог бы обратиться подвижник, для которого не существует грани между преходящим земным и вечным небесным миром.

Пушкин преодолел эту грань не только силой творческого проникновения, как «небесного земной свидетель», но напряженной работой ума, озаренного сиянием веры. «Тайны гроба роковыя», которые в числе других предметов были темой оживленных дружеских бесед между Онегиным и Ленским, занимали с ранней юности пытливый дух поэта, который нередко перевоплощался в его излюбленных героев.

Мы уже упоминали о его стихотворении «Безверие». Написанное еще на школьной скамье, для выпускного лицейского экзамена, оно носит на себе отпечаток глубокой философствующей мысли, ставящей пред собою мучительный вопрос о загробной жизни. Непостижимая для нас тайна последней находит свое разрешение только в свете веры.

«Наш век – неверный день, минутное волненье;
Когда, холодной тьмой объемля грозно нас,
Завесу вечности колеблет смертный час,
Ужасно чувствовать слезы последней муку
И с миром начинать безвестную разлуку!
Тогда, беседуя с раскованной душой,
О вера, ты стоишь у двери гробовой,

Ты ночь могильную ей тихо освещаешь
И, ободренную, с надеждой отпускаешь...»

Потрясающими драматическими чертами поэт изображает психологию неверия, всегда безответного пред лицом могилы, и противопоставляет ей тихое умиротворяющее созерцание веры, проникающей мрак последней и вновь соединяющей нас с дорогими лицами, отнятыми у нас безжалостною рукою смерти.

«А он, слепой мудрец! при гробе стонет он
[*(неверующий!)*,
С отрадой бытия несчастный разлучен,
Надежды сладкого не внемлет он привета,
Подходит к гробу он, взывает... нет ответа.

. . . .

К почившим позванный вечерней тишиной,
К кресту приникнул он бесчувственной главой,
В слезах отчаянья, в слезах ожесточенья,
В молчанье ужаса, в безумстве исступленья,
Рыдает – и меж тем под сенью темных ив,
У гроба матери колена преклонив,
Там дева юная в печали безмятежной
Возводит к небу взор болезненный и нежный,
Одна, туманною луной озарена,
Как ангел горести является она;
Вздыхает медленно, могилу обнимает...»

Что может быть разительнее такого контраста, выстраданного несомненно собственным сердцем поэта.

Его духовный облик был очень сложен, глубок и непроницаем, как море. На поверхности его бушевали волны страстей, в то время как в глубинах своих он оставался недвижим и спокоен, и там совершалась сокровенная работа гениальной мысли, проникающей к величайшим тайнам бытия и смерти. Его дух испыты-

вал и вопрошал всегда и везде, и даже череп на пиру является его наставником.

«О, жизни мертвый проповедник,
Вином ли полный иль пустой,
Для мудреца, как собеседник,
Он стоит головы живой».

Красноречивее всего о его неустанной внутренней духовной работе свидетельствуют черновые наброски его стихотворений, особенно тех, какие относятся ко времени его пребывания в Бессарабии. Они вводят нас в таинственную лабораторию его творчества, которую он так ревниво оберегал от постороннего взгляда.

По этим отрывочным, но драгоценным для биографа Пушкина записям, как бы по эскизам художника, мы узнаем беспокойный нервный ритм его душевной жизни в то время, когда он по образному выражению Тырковой «отбивался от злобного гения, кружившегося над ним» («Жизнь Пушкина», стр. 293).

Свет и тьма напряженно боролись в нем, пока он не побеждал своих сомнений, и солнце истины не озаряло его смятенную душу. Его страшит одна мысль об уничтожении человека после смерти, и он гонит ее от себя, как страшный призрак.

«Ты сердцу непонятный мрак,
Приют отчаянья слепого –
Ничтожество! Пустой призрак *(печальный мрак)*
Не алчу твоего покрова.
Веселье жизни разлюбя,
Счастливых дней не знав от века,
Душой не верую в тебя.
Ты чужда мыслям человека!
Конечно дух бессмертен мой!»

– восклицает он потом, как бы преодолев окончательно свои последние духовные колебания и сомнения.

Слово «бессмертный», как основной мотив, проходит сквозь ткань его напряженной мысли, принимая разные сочетания – *бессмертная* мысль, *бессмертное* счастье и т. п. По временам он стремится затушевать это слово, как бы боясь, чтобы его записи не выдали кому-нибудь сокровенные от людей мучительные искания его души.

Его занимает вопрос о том, не прекращаются ли со смертью узы земной любви и не померкнут ли во свете новой преображенной жизни все прежние переживания души – «и чужд ей будет мир земной».

«Быть может там, где все блистает
Нетленной славой и красой ,
Где чистый пламень пожирает
Несовершенство бытия,
Минутных жизни впечатлений
Не сохранит душа моя».

Первые четыре стиха из этого отрывка заслуживают особого внимания. Не в них ли заключается разгадка того, почему Пушкин так напряженно устремлял свой взор в тайну вечности?

Там в лоне вечной жизни он надеялся узреть сияние «нетленной славы и красы» откровение того подлинного «совершенства бытия», которое просвечивало для него уже здесь на земле то в образе «ангела нежного», сияющего во вратах Эдема, то самой Пречистой Девы, кроткой в величии, «во славе и в лучах».

Идеал совершенства, явленный ему в тайне поэтического творчества, ярко светил ему на протяжении всей жизни, спасая его от отчаяния, и не давая ему по-

грязнуть «во мраке земных сует», которым он отдавался особенно в пору юности.

Несоответствие между этим идеалом и действительностью, и прежде всего его собственным внутренним миром, создавало в нем то ощущение неудовлетворенности, какое так глубоко выражено в «сцене из Фауста», которая является на самом деле только свободным подражанием великому произведению Гете: в ней мы слышим несомненно отклик собственных настроений Пушкина, созвучных Фаусту.

«Тоска и скука ненавистная», как яд, отравляли его беспокойную душу: ничто не могло заглушить их – ни «знаний ложный свет» – «пучина темная науки», ни слава и «мирская честь», ни «восторг и упоение» страстей.

Он не скрывает своего разочарования во всем, чем его манила жизнь в легкомысленные молодые годы. «Безумных лет угасшее веселье» его тяготит, «как шумное похмелье».

«Юность нам советует лукаво,
И шумныя нас радуют мечты.
Опомнимся, но поздно!»

– предостерегает он своих лицейских друзей 19 октября 1825 года,

«Пора, пора! Душевных тайных мук
Не стоит мир; оставим заблужденья...»

«мне стыдно идолов моих.
К чему, несчастный, я стремился?»

– с горечью признается он в «Разговоре книгопродавца с поэтом».

Поэт понял своим внутренним чутьем, что источник счастья не вне, а в нас самих, что грех алчный,

«гнавшийся за ним по пятам», есть тот «художник-варвар», который чертит свой «рисунок безобразный» на душе человека, затемняя в ней светлый образ Божий и отравляя для него все родники истинного блаженства.

Гершензон в своем известном исследовании «Мудрость Пушкина» делится с читателями подлинно мудрым своим наблюдением, что «Пушкин хорошо знал *чистое чувство греховности,* то настроение, когда человек говорит себе: пусть я не властен не согрешать, но мне больно и стыдно, что я так далек от совершенства». Пушкин знал «змеи сердечной угрызенья».

Все помнят эти стихи:

«И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю».

«Такого покаянного псалма, – продолжает автор, – никогда не мог бы написать Лермонтов. В его поэзии нельзя открыть ни малейших признаков покаяния. Чувство греха чуждо ему». «Совершенство, однако, “манит” и его, но в то время, как Пушкин благоговеет перед красотой совершенства, сознавая его недосягаемость для себя, Лермонтов завидует счастью совершенства, мятежно силится овладеть им» («Мудрость Пушкина», стр. 78–79).

Здесь мы видим меру духовной глубины одного и другого поэта: Пушкин несомненно ближе, чем Лермонтов подошел к православно-христианскому мировоззрению.

Он не вмещается всецело ни в беспочвенного скитальца-интеллигента, подобного Онегину, ни в бегущего от условностей света в лоно первобытной жизни

разочарованного Алеко, хотя он и прошел через эти отрицательные духовные стадии, отражающие настроение известной части современного ему русского образованного общества.

Гораздо полнее и глубже его нравственный облик воплощается в образе «странника», написанного его художественной кистью с чужого оригинала (Буньяна), но глубоко усвоенного им самим в более сознательную эпоху его жизни. Этот «странник» (он написан в 1835 г.) не бездомный скучающий скиталец, по образу Онегина, но паломник, взыскующий грядущего града.

Объятый «скорбию великой», томимый страхом «смерти и суда загробного», он ищет для себя безопасного духовного убежища от угрожающей ему погибели. Его тревоги, горькие слезы и вздохи непонятны окружающим людям и даже собственной семье, признавшей его не более как больным безумцем. В своем одиночестве он не знает, «куда ему бежать», «какой выбрать путь», пока таинственный юноша не указывает ему вдали стезю, озаренную светом.

«Держись сего ты света;
Пусть будет он тебе единственная мета,
Пока спасенья тесных врат ты не достиг».

Услыхав эти слова, обрадованный странник без колебания бежит от мира, оставляя родной дом,

«Дабы скорей узреть, оставя те места,
Спасенья узкий путь и тесныя врата...»

Это стихотворение – столь глубокое по своей основной идее – почти не требует комментариев: «Странник» это русский православный народ, издавна привыкший считать себя «странником» и пришельцем

в этом мире. Его душа всегда рвется к свету, сердце ищет аскетического искупительного подвига, узким путем и тесными вратами ведущего христианина в Царство Небесное.

Чем более зрел духовно наш великий поэт, тем ближе он подходил к этому исконному народному идеалу. Его общее мировоззрение и умозрение поднимались постепенно на одну высоту с его окрыленным поэтическим творчеством, представлявшим собою, по слову Белинского, «землю, проникнутую небом».

Разочарования семейной жизни, быть может, еще более охладили его привязанности к этому обманчивому преходящему свету, и самый ум его становится все более *религиозным*, как он сказал некогда о Гете.

Сознание суетности всего земного невольно обращает взор человека к Богу, и душа ищет утешения в молитвенном общении с Ним.

Религиозно-молитвенное умиление нередко касалось души поэта: об этом отраженным путем свидетельствуют многие из его творений. Что может быть трогательнее простого сердечного молитвенного причитания, каким няня старается успокоить непонятную для нее тоску Татьяны:

«Дитя мое, ты нездорова;
Господь, помилуй и спаси!
Дай, окроплю святой водою,
Дитя мое, Господь с тобою!»

Не подлежит сомнению, что здесь поэт воскресил воспоминания своего детства, когда его няня, прославившаяся навсегда через своего великого питомца, крестила его дрожащей рукой при тихом свете вечерней лампады. Умиротворяющее влияние последней глубо-

ко запало в душу поэта, который нередко пользуется ею, как дорогим ему символом в своих произведениях.

Духовным умилением насыщены многие страницы «Бориса Годунова»: оно дышит в устах Пимена, Грозного царя, о котором вспоминает последний, в предобеденной молитве, которую читает мальчик в доме Шуйского, и в трогательном рассказе патриарха о чуде от мощей Царевича Димитрия, и, наконец, в завещании сыну самого Бориса, когда он, принимая схиму, отходит от этого мира с словами покаяния и примирения на устах.

Даже наиболее возвышенные страницы Корана, в которые углубляется поэт, настраивают его лиру на величественные религиозно-молитвенные мотивы:

«Творцу молитесь! Он могучий;
Он правит ветром в знойный день,
На небо посылает тучи;
Дает земле древесну сень».

. . . .

С Тобою древле, о, Всесильный,
Могучий состязаться мнил,
Безумной гордостью обильный;
Но Ты, Господь, его смирил».

(«Подражание Корану»)

Но особенно его сердцу были близки, конечно, наши вдохновенные, проникновенные, православные молитвы, по его собственному признанию «умилявшие» его душу. Такова особенно великопостная молитва Ефрема Сирина – этого певца покаяния, и величайшая из всех других «Молитва Господня»: ту и другую он воплотил в высоких, вдохновенных стихах. Поэтическое переложение первой мы все изучали с детства.

Гораздо менее известна художественная одежда, в какую поэт попытался облечь вторую.

«Отец людей, Отец Небесный,
Да имя вечное Твое
Святится нашими устами,
Да придет Царствие Твое,
Твоя да будет воля с нами,
Как в небесах, так на земли,
Насущный хлеб нам ниспосли
Твоею щедрою рукою.
И как прощаем мы людей,
Так нас, ничтожных пред Тобою,
Прости, Отец, Твоих детей.
Не ввергни нас во искушенье,
И от лукавого прельщенья
Избави нас».

Сохранив почти неприкосновенным весь канонический текст этой евангельской молитвы, Пушкин сумел передать здесь и самый ее дух, как мольбы детей, с доверием и любовью обращающих свой взор из этой земной юдоли к Всеблагому своему небесному Отцу.

«Капитанская дочка», оконченная только за сто дней до смерти поэта и являющаяся как бы его литературным и вместе духовным завещанием для Русского народа, вместе с другими особенностями русского быта, рисует нам и веру наших предков в силу молитвы – этого утешения «всех скорбящих», которая дважды спасает от опасности Гринева в наиболее критические минуты его жизни.

Но если где мы видим подлинную исповедь поэта, «странника», то это в одном из предсмертных его стихотворений, которое было открыто в его бумагах значительно позже его смерти и напечатано впервые в «Русском Архиве» только в 1881 г.

Оно связано с таинственным видением, предуказавшим поэту уже скорый исход из этого мятежного мира в страну вечного покоя.

«Чудный сон мне Бог послал.
В ризе белой предо мной
Старец некий предстоял
С длинной белой бородой
И меня благословлял.
Он сказал мне: будь покоен,
Скоро, скоро удостоен
Будешь царствия небес.
Скоро странствию земному
Твоему придет конец.
Казни вечныя страшуся,

– исповедуется поэт-странник:

Милосердия надеюсь
Успокой меня, Творец,
Но Твоя да будет воля,
Не моя... Кто там идет?»

Так в тихом сиянии веры открывался для него град Божий, это небурное «убежище» для всех пришельцев этого мира – и его смятенное тоскующее сердце успокаивалось в лоне милосердия Божия, которому он вручал свою душу. Его кончина, как увидим после, и была именно таким успокоением, в которое он вошел подлинно «тесными вратами» и «узким путем» своих предсмертных страданий.

Изведав на собственном опыте трудность борьбы с греховным соблазном, Пушкин умел снисходить и к немощам своих ближних. Он предпочитал «милость к падшим призывать» вместо того, чтобы бросать в них камнем осуждения.

В то время как Достоевский своим, по временам, подлинно «жестоким» талантом разверзает пред на-

шим взором бездну зла и долго держит нас над нею, гармоническая муза Пушкина не выносила соприкосновения с глубинным злом. Замечательно, что у него почти нет ярко выраженных глубоко трагических или отталкивающих порочных типов, кроме, быть может, Скупого рыцаря. Всякую дисгармонию, какую он встречает в жизни, он стремится в конце концов разрешить в светлый аккорд.

Так он примиряет нас и с коварным и вероломным по его изображению Борисом Годуновым, подчеркивая его очистительные страдания на закате жизни, и даже с таким закоренелым преступником, как Пугачев, когда рисует картину его публичной казни. Последняя сама по себе является уже искуплением за его многочисленные злодеяния, но когда мы читаем о том, как Пугачев, стоя на эшафоте, сделал несколько земных поклонов при виде Кремлевских соборов и, кланяясь во все стороны народу, говорил прерывающимся голосом: «Прости народ православный, отпусти в чем я согрубил перед тобою». «Прости народ православный!», то мы действительно готовы вместе с автором простить умирающего злодея, предавая его кающуюся душу праведному и вместе милостивому суду Божию.

Все это характеризует Пушкина как нашего подлинно великого национального православного поэта, неотделимого от русской народной стихии.

Главное, что сближало его с народом в чисто духовной области, это гармоническая ясность духа и смирение – смирение не только сердца, но и ума – что так легко открывает путь к вере. Академик Струве, в своей глубокой статье «Дух и слово Пушкина», правильно истолковал самую сердцевину нравственного облика ве-

ликого поэта, когда написал о нем следующие строки: «Основной тон Пушкинского духа, та душевно-духовно-космическая стихия, к которой он тянулся, как творец-художник и как духовная личность, можно выразить словосочетанием “ясная тишина”»... Но «за этой доступной и естественной человеку ясной тишиной» он «прозревал неизъяснимую Тайну Божию, превышающую все земное и человеческое, и пред этой Тайной Божией смиренно и почтительно склонялся. Да, его припадание к Тайне Божией было действием, можно сказать, стыдливым» (стр. 8–9).

Чисто русскими православными чертами рисуют его духовный облик в пору его зрелости его современники, а также его прозаические произведения, где он вполне определенно без всяких поэтических покровов исповедует свои общие взгляды и убеждения. Из живых свидетелей на первом месте стоит Александра Осиповна Смирнова (рожденная Россет, бывшая фрейлина у Государыни Императрицы Марии Феодоровны и Александры Феодоровны) – женщина большого ума, утонченного образования и вкуса, и высокой религиозной настроенности, бывшая в дружественных отношениях с Пушкиным, глубоко ценившая и чутко понимавшая великого поэта. Хотя ее «Записки», изданные ее дочерью О. Н. Смирновой, подвергаются в некоторых своих частях сомнению со стороны их исторической точности, однако ими пользуются все биографы Пушкина, поверяя их, где нужно, конечно, другими историческими данными. В них рассеяно множество ценнейших заметок, обрисовывающих нравственный образ Пушкина после 1826 г., когда характер его уже почти сложился. Духовная близость и взаимное доверие, которое соединяло Пушкина со

Смирновой, делали его особенно откровенным со своей собеседницей. Он поверял ей святое святых своей души, которое стыдливо скрывал от других. В ее просвещенном салоне он встречался с самыми выдающимися по своей духовной культуре и по своим дарованиям русскими людьми того времени, из коих большинство были его близкими и искренними друзьями. Это были: Жуковский, Гоголь, Вяземский, Хомяков, А. Тургенев, Полетика и др.

В этой избранной среде, насыщенной высокими духовными интересами, велись оживленные беседы на литературные, исторические и философские темы. Нередко затрагивались здесь и глубокие религиозные вопросы, при обсуждении коих особенно ярко блистал тонкий диалектический ум Хомякова, соединявшего в себе с широкими богословскими познаниями и поэтический дар. Этот последний талант, как и самая живость темперамента, невольно роднили его с Пушкиным. Еще более впечатлительная и все испытующая душа последнего чутко отзывалась на все «вечные» запросы человеческого духа и заставляла его принимать самое оживленное участие в этих серьезных дружеских беседах, где он занимал нередко доминирующее положение. Его друзья, привыкшие преклоняться пред его поэтическим гением, который был его лучшим учителем, должны были отдать дань глубокого уважения меткости и остроумию его логических суждений, бывших, очевидно, скорее плодом «ума холодных наблюдений», чем творческой интуиции. В религиозной области Пушкин был в это время не только чужд всякого скептицизма, но нередко поражал своих собеседников ортодоксальностью своих взглядов. Он не боялся исповедывать их здесь с мужеством убежденного христианина.

Однажды Смирнова повторила перед ним ходившие тогда упорные слухи о неверии его. Пушкин расхохотался и сказал, пожимая плечами: «Разве они считают меня совершенным кретином?» (Записки О. А. Смирновой, изд. Северного Вестника. СПб, 1894 г.). Значение религии, по его мнению, неизмеримо: «она создала искусство и литературу, без нее не было бы ни философии, ни поэзии, ни нравственности». Исходя из этого, он сожалел, что «во Франции после XVII века религиозный элемент совершенно исчезает из произведений изящной словесности» и что «гуманизм сделал французов язычниками» (там же, стр. 148–149).

Он открыто порицал французских писателей XVIII в. за их нравственный «цинизм» и вольнодумство. Даже Руссо он считал писателем «безнравственным, ибо идеализировать запрещенные страсти безнравственно». Но особенно он негодует на своего прежнего кумира Вольтера (которого он называет в другом месте «Фарнейским шутом»), соблазнившего его «своим гнусным произведением о Жанне д'Арк» написать поэму, которая «тяготит его совесть» и о «которой он не может вспомнить без краски стыда» (стр. 191).

Но зато он высоко ставит Ламартина и Расина: у первого он видит не только «прекрасный талант и чуткую любовь к природе, но и религиозно настроенный ум». «У Расина также было глубокое религиозное чувство. Чуть встретишь у него упоминание о природе и сейчас же мысль его возносится к ее Творцу» (стр. 193–194). Английскую литературу Пушкин предпочитает французской, потому что, несмотря на влияние гуманизма, появившегося в Англии ранее, чем во Франции, она «осталась христианской» (стр. 148). Он находит

«положительное религиозное чувство у Байрона, хотя его и обвиняют в атеизме, не читая его» (стр. 195), и часто восторженно говорит о Мильтоне.

Когда Смирнова спросила его мнение о «Прометее» Шелли, Пушкин ответил: «Я не признаю, чтобы возмущение против Бога могло освободить нас от наших жизненных зол, это – софизм; это – архилживо: возмущение против Бога только ожесточает людей... Страдание, принимаемое с непокорным духом, никого не освобождает. Это все равно, что сказать, что Бог, Который есть любовь, терзает человечество, чтобы наслаждаться его страданием. Данте, Шекспир, Мильтон, Гете, Байрон никогда не проповедывали такого чудовищного софизма» (стр. 205).

Неотразимое впечатление производил на него Данте своею «Божественною поэмою». Читая ее, он понял, что «прекрасному надлежит быть величественным» (стр. 185). Жуковский коснулся однажды в том же кружке психологии атеистов, сказав, что между ними «много фанатиков». Пушкин, по словам Смирновой, прибавил насмешливым тоном: «Я часто задаюсь вопросом, чего они кипятятся, говоря о Боге? Они яростно воюют против Него и в то же время не верят в Него. Мне кажется, что они даром теряют силы, направляя удары против того, что по их мнению, не существует» (стр. 190). Ему чужды и непонятны были не только атеисты, но и «деисты, которые не любят Бога, даже когда верят в Него, и не признают того, что один Бог есть принцип всякой любви» (стр. 195). Прочитав «Скупого Рыцаря», Смирнова сказала, что в нем есть нечто «диавольское». Пушкин воспользовался этим, чтобы перед нею и другими собеседниками – Жуковским, Вяземским, Тургеневым и Карамзиными

(у которых на этот раз все они собрались) изложить свой взгляд на Сатану и природу злых духов вообще. «Золото, сказал он, есть дар Сатаны людям, потому что любовь к золоту была источником бо́льшего числа преступлений, чем всякая другая страсть. Мамон был самый низкий и презренный из демонов».

Он потом стал развивать мысль о том, что Сатана искушает человека из ненависти к нему, ибо последний свободнее павшего Денницы, укоренившегося во зле.

«Я вижу, что у тебя самые правоверные воззрения насчет лукавого», заметил с некоторой иронией Тургенев. «А кто же тебе сказал, что я не правоверный», – возразил Пушкин. «Я верю Библии, – продолжает он, – во всем, что касается Сатаны: в стихах о падшем духе, прекрасном и коварном, заключается великая философская истина. Безобразие никого не искусило и нас оно не очаровывает».

Если же в средние века диавола изображали в ужасном отвратительном виде и «его уродливость не мешала колдуньям поклоняться ему», то это «свидетельствует о развращенности рода человеческого, способного преклоняться пред всевозможными и особенно нравственными уродливостями, возводя их в красоты». «Обожали же даже Марата», – заключил он (стр. 209–219).

Его душа отвращалась от всякого нравственного безобразия, потому что все подлинно божественное открывалось ему сквозь призму красоты. «Красота, истина и симметрия есть выражение Верховного Существа», – цитирует он одного неоплатоника. «Но платоники не сумели осуществить прекрасного, которое есть добро в действиях; они только мечтали об осуществлении его. Только христианство осуществило этот союз».

Если Платон пленяет его высотою своих созерцаний, то не менее удивляется он Аристотелю, с непоколебимой логикой доказывавшему существование Бога рассудком (стр. 180).

Однако, его собственная уверенность в бытии Божием покоилась не на рассудочных основаниях, а на свидетельстве внутреннего опыта.

Близкое знакомство с философским учением Локка и Юма привело его к убеждению, что «человек нашел Бога именно потому, что Он существует. Нельзя найти то, чего нет, даже в пластическом искусстве».

Идея Божества прирождена нам. Особым таинственным внутренним инстинктом мы познаем иную потустороннюю «действительность, которая столь же реальна, как и все, что мы можем трогать, видеть, испытывать. В народе есть врожденный инстинкт этой действительности, т. е. религиозное чувство, которое он даже и не анализирует» (стр. 162).

Так наш великий национальный поэт, проблуждав по распутьям шатающейся человеческой мысли, снова возвратился к непосредственной народной вере, привитой ему его знаменитой няней в детстве.

У народа же он, по-видимому, научился читать Писание, как источник вечной мудрости, в коем, по его словам, «находишь всю человеческую жизнь».

Он не только имел Библию настольной книгой сам, но и хотел, по примеру англичан, приучить читать ее своих детей.

Когда Хомяков повторил известное возражение против этого, состоящее в том, что «в Библии есть вещи неприличные и бесполезные для детей, и что хорошая священная история лучше», Пушкин, отражая опять народное воззрение на эту святую Книгу, с го-

рячностью воскликнул: «Какое заблуждение! Для чистых все чисто; невинное воображение ребенка никогда не загрязняется, потому что оно чисто... Поэзия Библии особенно доступна чистому воображению; передавать этот удивительный текст пошлым современным языком – это кощунство даже относительно эстетики, вкуса и здравого смысла. Мои дети будут читать Библию в подлиннике». «По-славянски?» – спросил Хомяков. «По-славянски, – подтвердил Пушкин –, я сам обучу ему» (стр. 163). Здесь в нем еще раз заговорил здоровый народный инстинкт, который он чувствовал очевидно глубже, чем прославленный корифей славянофильства Хомяков.

Как ни высоко ценил Пушкин величавый и благозвучный славянский язык, на каком одном употреблялась тогда Библия (ибо русского перевода еще не существовало в то время), он должен был пользоваться и французским ее переводом, как это видно из его писем к брату; французский язык, знакомый ему с детства, мог иногда помочь ему прояснить для себя библейский текст там, где славянский перевод не был достаточно вразумителен. Он прочитал Библию, по собственному признанию «от доски до доски». Но он не только читал, а и изучал ее, пока она не покорила его своей внутренней всепобеждающей силой. Пушкин по своему внутреннему духовному существу был глубоко нравственный человек, что отразилось и на его творчестве. Быть может, он был даже самым *нравственным* из наших писателей, как выразился о нем один исследователь. Он ясно сознавал и чувствовал грани, отделяющие добро от зла, противопоставляя их одно другому. Почти все его герои носят ярко выраженный нравственный характер: в лице их он возвышает доб-

родетель и клеймит порок и страсть. Его личные падения были плодом порывов страстного чувства и слабости воли, но отнюдь не потемнения нравственного сознания или усыпления совести, отличавшейся у него на самом деле большой чуткостью. Голос последней явственно звучал в его душе всегда, служа источником его постоянного нравственного обновления, после его страстных увлечений на пути греха. В минуту борьбы со злом и особенно, когда оно облечено было в красивую форму, с тем «волшебным демоном», который смущал его еще с детства своим «сомнительным и лживым идеалом», он находит для себя источник просветления и укрепления в Библии, бывшей для него воплощением истины и правды. Поэтический дар невольно заставляет его и здесь искать художественных образов, какие служили бы олицетворением добра, а не зла, ибо гений и злодейство для Пушкина несовместимы по своей природе: «прекрасное должно быть величавым» и следовательно чистым. Библия и открывает перед ним эти величавые чистые и прекрасные образы, полные истинной поэзии. Если Байрон пытался опоэтизировать Каина, то Пушкина пленял особенно облик Моисея, которого он называет «Титаном, величественным в совершенно другом роде, чем греческий Прометей и Прометей Шелли. Он не восстает против Вечного, но следует Его воле. Он участвует в делах Божественного Промысла, начиная с Неопалимой Купины до Синая, где он видел Бога лицом к лицу. И умирает на горе Нево один перед лицом Всевышнего. Только в Боге может найти успокоение этот великий служитель Божий. Никогда и нигде Моисей не говорит о личных чувствах. Замечательное лицо для поэмы» (Записки Смирновой, стр. 195).

В таком восприятии облика великого пророка и вождя народа Израильского, Пушкин, сам того не замечая, уже переходит из чисто поэтического его созерцания в область богословского умозрения, которое также не было чуждо его великому духу. Иов с его страданиями, на которые он жалуется своим друзьям и прежде всего Самому Богу, стоит по мнению поэта ближе к обыкновенным людям; поставленный с такой силой в речах его и его друзей вопрос о происхождении и значении страданий и о несоответствии добродетели и благополучия на земле, по-видимому глубоко волновал Пушкина и потому он ценил эту священную книгу особенно высоко, также, как и Байрон; по словам Киреевского он хотел изучать еврейский язык, чтобы глубже проникнуть в смысл ее подлинного библейского текста (И. И. Лапшин, «Трагическое в произведениях Пушкина», Белградский Пушкинский сборник, стр. 183). Из книги пророка Исаии он заимствовал, как мы видели, образ своего «Пророка». Его отрывок «Юдифь» и «подражания Песни Песней» показывают, насколько он внимательно изучал и эти священные книги Ветхого Завета, из коих последняя была, понятно, особенно близка ему по своему поэтическому изложению. Из писем его к Чаадаеву мы знаем, что он «удивлялся» и «псалмам» Давида. Цитата, приведенная им здесь же из Еклезиаста, говорит о близком знакомстве его и с книгой этого ветхозаветного мудреца.

Однако ничто не питало и не услаждало так его сердце, как Евангелие. В написанном им разборе благочестивой книги Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека», есть замечательные слова, посвященные изображению неувядающей силы и красоты этой Веч-

ной книги, производящей неотразимое действие на сердце человека.

Написанные прозой, они поднимаются до высокой поэзии, свидетельствующей об искренности и глубине вложенного в них чувства. «Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применимо ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира: из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицей народов; она не заключает уже для нас ничего неизвестного, но книга сия называется Евангелием и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие».

Таков восторженный гимн, воспетый Пушкиным в честь Евангелия. Его следовало бы иметь перед глазами каждому христианину, чтобы всякий черпал возможно больше из этой «единственной книги, в которой все есть» (слова Пушкина, сказанные Глинке).

Пушкин добавляет далее, что он «дерзнул упомянуть о Божественном Евангелии, потому что мало избранных даже между первыми пастырями Церкви, которые в своих творениях приближались кротостью духа, сладостью красноречия и младенческой простотой сердца к проповеди Небесного Учителя». Самое слово *дерзнул* показывает с каким благоговением он относился к Евангелию.

Следует отметить, что сам Пушкин в зрелом возрасте везде подходил к Слову Божию именно в непосредственной младенческой простоте сердца, не ис-

кушаемый духом скептицизма, соблазнившего Толстого. Он и здесь был глубоко народен, как и во всем своем отношении к Церкви и ее установлениям. Он воспринимает их так, как их чувствовали и воспринимали искони миллионы русских православных людей, не мудрствующих лукаво.

Там, где это нужно, он умел склонить свою венчанную лаврами голову перед авторитетом Церкви. Это ясно показала его знаменитая поэтическая полемика с Митрополитом Филаретом по вопросу о смысле жизни. Два великих современника – Филарет и Пушкин, как две могучие духовные вершины, высоко поднимающиеся над своим временем и окружающей их средой, не могли не заметить друг друга. Митрополит Филарет, этот тонкий художник слова, полного яркой образности и запечатленного иногда высокой духовной поэзией, не мог не оценить вдохновения Пушкина, обогатившего сокровищницу русского яыка и ставшего откровением в нашей литературе. С другой стороны Пушкин, столь чуткий ко всему высокому и прекрасному, стремившийся обнять своим гениальным даром все высшие проявления человеческого духа, не мог не остановить своего внимания на Филарете, которого уже тогда почитала вся Россия, как мудрого пастыря, глубокого богослова и вдохновенного, непревзойденного по своему красноречию проповедника. Особенно близко он должен был соприкасаться с Московским Первосвятителем во время своих частых приездов в Первопрестольную столицу, жизнь которой глубоко была запечатлена умственным и нравственным влиянием последнего. Мы ни откуда, однако, не видим, чтобы Филарет и Пушкин состояли в близких личных отношениях между собой и даже, чтобы они вообще встре-



Гравюра поэта по Матэ (19 в.)



Митрополит Филарет (Дроздов) Московский

чались один с другим вне официальной обстановки. Но они имели общих друзей и почитателей, старавшихся этих двух великих людей своего времени сблизить между собой. Таковыми были Шевырев, А. И. Тургенев и особенно Елисавета Михайловна Хитрово, дочь знаменитого М. И. Кутузова. Женщина большого ума и доброжелательного сердца, глубоко православная по своим убеждениям, она высоко почитала великого Русского иерарха, как и испытывала искреннее преклонение перед поэтическим талантом Пушкина, сделавшее ее одним из преданнейших друзей последнего. Пользуясь доверием и расположением одного и другого, она со свойственной ей чуткостью женского сердца стала живым нравственным звеном между ними. Как видно из недавно опубликованных ее писем к Пушкину, Митрополит Филарет поручал ей иногда передавать о некоторых происшествиях в Москве Пушкину, и она исполняла эти поручения, «не смея его ослушаться» (письмо Пушкина из Петербурга 18 марта 1830 г.). Но историческая заслуга Е. М. Хитрово состоит в том, что она явилась посредницей в их встрече на литературном поприще, вызванной появлением в печати стихотворения Пушкина «26 мая 1828 г.» (день его рождения) и начинающегося словами:

«Дар напрасный, дар случайный
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?»

Эти стихи появились, однако, на полтора года позднее поставленной над ними даты, будучи напечатаны в «Северных Цветах». По свидетельству Барте-

нева, основанному на словах самого Митр. Филарета, именно Е. М. Хитрово привезла ему это произведение Пушкина («Пушкин и его время», Сборник, Харбин, 1936, стр. 151), желая очевидно обратить на них его внимание. Навеянное припадком меланхолии, нередко посещавшей Пушкина при всей его видимой жизнерадостности, это мрачное стихотворение было жалобой на слепой и жестокий рок, управляющий, как ему казалось, его жизнью. Вера в неотвратимый рок или судьбу, предназначенную каждому из людей, была вообще свойственна Пушкину, – здесь он дал ей только наиболее яркое и горькое выражение. Так как подобная безотрадная философия, распространяемая великим поэтом, не могла не производить смущения в умах тогдашнего общества, Митрополит Филарет решил не оставлять его стихотворения без ответа. Его целью было доказать всем, и особенно самому поэту, что наша судьба отнюдь не предопределена для нас слепым роком, как думали язычники, она управляема разумной и благой волей Творца и Промыслителя мира, указавшего для нее высокое назначение в приближении к Его совершенству. Мы сами становимся источником своих страданий, отступая от Него, и снова обретаем душевный покой и мир, возвращаясь в Его лоно. Замечательно то, что Филарет нашел нужным облечь эти мысли в стихотворную поэтическую форму, желая таким путем лучше довести их до сердца поэта. Тот же стихотворный размер и почти те же слова и выражения, но наполненные различным содержанием, делают невольно оба эти стихотворения как бы параллельными и вместе противоположными друг другу. Особенно этот параллелизм заметен в следующих двух строфах Митрополита Филарета:

«Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога нам дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал».

Стихи Митрополита Филарета, по собственному его признанию, сделанному Шевыреву, были помещены в «Звездочке» без подписи, но они тотчас же стали известны Пушкину. Поэт оценил такое снисхождение к нему со стороны высокого иерарха Церкви, выразившееся в столь необычной форме обращения к нему со стороны знаменитого церковного витии и ответил на стихотворение последнего замечательными «Стансами», являющимися одним из лучших перлов его поэзии. Приводим их полностью:

«В часы забав иль праздной скуки
Бывало лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.
Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.
Я лил потоки слез нежданных
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты
И силой кроткой и любовной

Смиряешь буйныя мечты,
Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует:
И внемлет арфе Серафима *
В священном ужасе поэт.»

Здесь поистине достойно удивления все: и возвышенность вдохновенной мысли, и величавая торжественность и в то же время искренность, и благородство тона, и глубокое смирение сердца, не боящегося всенародной исповеди в своих заблуждениях и страстях и, наконец, самая звучность и музыкальность стиха, полного изящной, временами нежной благоухающей гармонии.

Для нас очень важно здесь признание поэта, на которое обратил внимание еще Гоголь в «Избранных местах из переписки с друзьями», что он еще в ранней легкомысленной молодости привык внимать «благоуханным речам» Митрополита Филарета, врачевавшего «раны» его совести: этим определяется степень влияния последнего на его нравственное развитие. Не менее трогательно его преклонение пред духовной высотой пастыря Церкви, пред его «кроткой и любовной силой», которой тот усмирял в нем бурные порывы сердца. Заключительный аккорд «Стансов» –

Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует:
И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе поэт.

* По требованию цензора Пушкин должен был изменить редакцию последней строфы. Первоначальный ее текст был таков:

Твоим огнем душа согрета
Отвергла мрак земных сует:
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт.

является одним из высших взлетов его творчества, свидетельствуя в то же время о полном умиротворении его мятущейся души, ощутившей снова радостную красоту жизни после пережитой им внутренней бури.

Сама музыка стихов говорит нам об этом гармоническом возвышенном настроении поэта. Пушкинисты, привыкшие прислушиваться к самому сочетанию звуков в поэзии Пушкина, справедливо видя в нем живую иллюстрацию внутренних переживаний поэта, могли бы здесь услыхать действительно как бы торжественные отзвуки арфы Серафима: так много в них законченной гармонии духовной силы и красоты.

Не забудем, что Пушкин писал «Стансы» в 1830 году, т. е., когда он был уже во вполне зрелом возрасте и находился в зените своей общепризнанной славы. Наша история не знает другого примера подобного литературного состязания между строгим по своим взглядам и мудрым русским Архипастырем и свободолюбивым гениальным поэтом, в котором последний не только не устыдился признать себя побежденным, но и, как смиренный ученик, с благодарностью лобзал руку своего духовного наставника *.

Кто бы мог представить себе в таком положении Толстого, в своей гордой исключительности считавшего себя непогрешимым даже в религиозных вопросах

* Напрасно о. Булгаков в своей статье «Жребий Пушкина» на основании заметки Пушкина 1835 г., где он называет Митрополита Филарета «старым лукавцем», старается доказать, что в последнее время его отношение к последнему не было положительным. Эта заметка могла быть внушена каким-либо случайным настроением поэта: по крайней мере в своей критической статье, посвященной сочинениям Григория Коинского, в 1836 г. он восхищается «умилительной простотой его красноречия».

и не терпевшего прикосновения к своим произведениям какой-либо критики, особенно со стороны духовных лиц. Быть может под влиянием этого урока, полученного от мудрого Святителя, Пушкин к концу жизни, по словам Плетнева, часто возвращался к беседам о Божественном Промысле, управляющем миром и направляющем его жизнь к благим целям, и благостным примиренным оком стал взирать на этот последний, несмотря на наличие в нем зла (Лапшин, стр. 184).

Как мы уже видели ранее, сила Пушкина состоит в том, что он, в противоположность Толстому, никогда не отрывался от русской православной стихии и от постоянного соборного общения с народом, почерпая из него ту исключительную духовную мудрость, которую мы начинаем понимать только теперь, хотя он остается еще не раскрытым и не разгаданным до конца. Он углубил ее основательным изучением минувших судеб родной земли, что особенно помогло ему оценить кроткое смиренное величие родной Православной Церкви и те блага, какие принесло с собой Восточное Православие нашему народу. Как мы видели, в «Борисе Годунове» он отметил со всей силой своего таланта преобладающее животворящее значение Церкви в строительстве русской общественной и государственной жизни.

Ранее «Бориса Годунова» (в 1822 г.) написаны были его «Исторические записки», где он в прозаической форме изображает исторические заслуги нашей Церкви и нашего духовенства перед Русским народом. Православная вера навсегда определила по его мнению духовный облик последнего. Мы постараемся, однако, говорить его собственными словами, ибо у него каждая мысль заключена в точную вполне соответствующую ей форму и каждое слово поставлено на своем месте:

его не легко ни заменить другим, ни переставить на другое место.

«Греческое вероисповедание, – пишет Пушкин, – отдельное от всех прочих, дает нам особый национальный характер».

В отличие от западного, – католического, составляющего «особое общество», т. е. как бы государство в государстве, наше духовенство жило неразрывной жизнью со своим народом, служа «посредником между ним и государем, как между человеком и Божеством». «Мы обязаны монахам нашей историей, следственно и просвещением» (Историч. Записки 1822 г.).

Духовенство пронесло и сохранило этот светоч сквозь мрачные годы татарского ига и тем помогло Русскому народу сохранить свой национальный облик.

«Нашествие татар, – пишет Пушкин в своей статье о Русской литературе (Вступление), – не было, подобно наводнению мавров, плодотворным; они не принесли нам ни алгебры, ни поэзии». «Духовенство, пощаженное сметливостью татар, одно в течение двух мрачных столетий питало искры бледной византийской образованности. В безмолвии монастырей иноки вели свои беспрерывные летописи: архиереи в посланиях своих беседовали с князьями и боярами в тяжелые времена искушений и безнадежности».

Россия спасла «христианское просвещение» – не только для себя, но и для Европы, защищая ее от варваров. «Европа в отношении России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна».

Правительство по мнению Пушкина не сумело оценить в должной степени этого исторического значения нашего духовенства в деле просвещения и нравственного воспитания народа.

Отдавая дань должного уважения государственной мудрости Екатерины II, «поместившей Россию на пороге Европы», Пушкин со свойственной ему правдивостью не мог, однако, ей простить того, что «она явно гнала духовенство, жертвуя тем своему неограниченному властолюбию и угождая духу времени. Но, лишив его независимого состояния и ограничив монастырские доходы, она нанесла сильный удар просвещению народному. Семинарии пришли в упадок. Многие деревни нуждались в священниках. Бедность и невежество этих людей, необходимых в государстве, их унижает и отнимает у них самую возможность заниматься важною сею должностью. От сего происходит в народе нашем презрение к попам и равнодушие к отечественной религии».

В нашей литературе редко можно встретить столь искреннюю и горячую защиту нашего обездоленного духовенства, внушенную нашему национальному поэту не только его здоровым русским православным чувством, но и тем «беспристрастием», какое он считал признаком истинного просвещения.

Те же самые побуждения заставили его выступить убежденным апологетом родной Православной Церкви, против своего друга Чаадаева, увлекавшегося блестящими внешними культурными одеждами католичества и его монархическим устройством.

Пушкин вступает с ним в настоящий богословский спор, хотя и признает, что он недостаточно вооружен для этого. Он решительно отвергает утверждение Чаадаева, что «мы черпали христианство из нечистого (т. е. византийского) источника», что «Византия была достойна презрения и презираема» и т. д.

«Но, друг мой, – возражает Пушкин, – разве сам

Христос не родился евреем, и Иерусалим разве не был притчею во языцех? Разве Евангелие от того менее дивно? Мы приняли от греков Евангелие и предание, но не приняли от них дух ребяческой мелочности и прений. Русское духовенство до Феофана было достойно уважения: оно никогда не осквернило себя мерзостями папства и, конечно, не вызвало бы реформации в минуту, когда человечество нуждалось в единстве. Я соглашаюсь, что наше нынешнее духовенство отстало. Но хотите знать причину? Оно носит бороду вот и все, оно не принадлежит к хорошему обществу».

Не отрицая культурного превосходства западного христианского мира перед Россией, он говорит, что этим Европа обязана нашей Родине. Благодаря «нашему мученичеству», пережитому в то время, когда мы удерживали напор монголов, католическая Европа без помехи могла энергически развиваться. Что же касается единства, какое прельщало Чаадаева в католицизме, то Пушкин находит, что воплощение его надо видеть христианам в идее Христа, а не в папе. В своем последнем письме (1836 г.) он, как известно, «клянется честью, что ни за что на свете не захотел бы ни переменить отечества, ни иметь другой истории, как истории наших предков такою, как нам Бог послал». Так мог писать только истинный патриот, беззаветно любящий свою Родину и свою Церковь, принимавшей живое и плодотворное участие в строительстве нашей истории.

Свое отрицательное отношение к католичеству Пушкин выразил и в статье «Современника», посвященной оценке деятельности Архиепископа Георгия Кониского в Белоруссии в связи с разбором его сочинений. С нескрываемым негодованием он описывает

здесь гонение на Православие, воздвигнутое католическим фанатизмом. «Миссионеры насильно гнали народ в униатские костелы, ругались над ослушниками, секли их, заточали в темницы, томили голодом, отнимали у них детей, дабы воспитывать в своей вере, уничтожали браки, совершенные по обрядам нашей Церкви, ругались над могилами православных». Самого Георгия Кониского он считает героем и мучеником своего пастырского долга, ибо он дважды подвергался нападению католиков и оба раза с опасностью для жизни. С возмущением описывает он особенно второе покушение на жизнь Георгия Кониского, организованное иезуитскими воспитанниками в Могилеве. «Буйные молодые люди вломились в ворота (Архиерейского дома), перебили окна, ранили несколько монахов, семинаристов и слуг, но к счастью не нашли Георгия, скрывшегося в подвалах своего дома».

Чем выше ценил Пушкин Православие, тем более хотел, чтобы мы приобщили к нему другие народы, вошедшие в состав нашего государства: в нашей религии он видел лучшее средство для того, чтобы умягчить их нравы и привить к ним русскую культуру, после чего они стали бы органической частью Русской державы. По пути в Эрзерум, при виде диких кавказских горцев, он высказывает ряд глубоких мыслей о христианской миссии. Пушкин справедливо говорит, что в этой области мы еще не выполнили своего долга, и наша Церковь уступает в миссионерском рвении католической (известно, что в этом отчасти упрекал ее впоследствии и Пальмер в своей переписке с Хомяковым).

Терпимость, какую мы проявляли всегда к иноверцам и даже язычникам, по его мысли не освобождает

нас от обязанности заботиться об обращении наших заблудших братьев на путь истины.

«Разве истина дана нам для того, чтобы скрывать ее под спудом? Мы окружены народами, пресмыкающимися во мраке детских заблуждений, и никто из нас еще не думал препоясаться и идти с миром и крестом к бедным братьям, лишенным доныне света истинного. Так ли исполняем мы долг христианина?...»

«Кавказ ожидает Христианских миссионеров» – заключает он поучительную путевую записку о миссионерстве.

Некоторой иллюстрацией к сему служит поэма Галуб, изображающая действие христианства на душу мусульманина.

Пушкин знал, какое важное значение имела Православная Церковь и в исторической судьбе других славянских народов – Сербов и Черногорцев, и потому его песни Западных славян иногда превращаются в гимны Православию, которое свято блюдет народ, готовый всегда идти за свою веру на смерть, как и Православная Церковь блюдет и укрепляет народ, угнетаемый неверными.

Стихотворение «Видение Короля» нельзя назвать иначе, как похвалой мученичеству, нашедшей свое лучшее выражение особенно в следующих словах Короля:

«Громко мученик Господу взмолился:
Прав Ты, Боже, меня наказуя.
Плоть мою предай на растерзанье,
Лишь помилуй мне душу, Иисусе.»

Православное мировоззрение Пушкина создало и его определенное практическое отношение к Церкви. Если о нем нельзя сказать, что он жил в Церкви (как выразился Самарин о Хомякове), то во всяком случае

он свято исполнял все, что предписывал русскому человеку наш старый, благочестивый домашний и общественный быт. Он посещал богослужение, исполнял долг говения, глубоко понимая значение исповеди и Св. причастия для христианина, особенно в минуты тяжких душевных испытаний, как мы видим на примере Кочубея. С неподражаемым проникновенным настроением и теплотой поэт рисует состояние кающегося грешника и его духовного отца, принимающего на себя его греховное бремя – в стихотворении «Вечерня отошла».

«Трепещет луч лампады
И тускло озаряет он
И темну живопись икон,
И их богатые оклады.
И раздается в тишине
То тяжкий вздох, то шопот внятный.
И мрачно дремлет в тишине
Старинный свод глухой.
Стоит за клиросом монах
И грешник, неподвижны оба.
И грешник бледен, как мертвец,
Как будто вышедший из гроба.
Несчастый, полно, перестань.
Ужасна исповедь злодея...
. . . .
Молись. Опомнись – время, время.
Я разрешу тебя – грехов
Сложу мучительное бремя.»

Таких стихов нельзя создать только силою одного воображения, их надо пережить и перечувствовать.

Подобно своим предкам, поэт не только помнит своих дорогих отшедших, но и поминает их церковной молитвой в нарочитые дни, заказывая о них па-

нихиды. Он не забывал даже помолиться о расстрелянных декабристах, хотя делал это тайно, как признавался Смирновой, и не потому, что боялся обнаружить связь с ними пред лицом правительства, а потому что находил излишним без нужды обнажать свои религиозные чувства перед другими, считая, что они тогда в значительной степени теряют свою внутреннюю ценность.

Благочестивые фамильные предания и обычаи были для него священны. Он стоял здесь выше светских предрассудков. Следующий факт, отмеченный Вересаевым, наглядно рисует перед нами эту черту его нравственного характера.

«В роде бояр Пушкиных с незапамятных времен хранилась металлическая ладонка с довольно грубо гравированным на ней Всевидящим оком и наглухо заключенной в ней частицей Ризы Господней. Она – обязательное достояние старшего сына, и ему вменяется в обязательство 10 июля, в день праздника Положения Ризы – служить пред этой святыней молебен. Пушкин всю жизнь свою это исполнял и завещал жене соблюдать то же самое, а когда наступит время, вручить ее старшему сыну, взяв с него обещание никогда не уклоняться от семейного обета».

Свои письма к жене он почти всегда заключает патриархальным родительским благословением, посылаемым детям, не отделяя в этом случае от них и саму Наталию Николаевну: «Целую Машу (дочь) и благословляю, и тебя тоже, душа моя, Христос с вами» – заключает он свое письмо Наталии Николаевне от 30 сентября 1832 г. из Москвы. «Благословляю Машку с Сашкой» (сыном) – пишет он также жене 27 августа 1833 г.

Особенно трогательно было последнее родительское благословение, преподанное детям уже на смертном одре.

Брак и семья, освященные церковным благословением, были для него святыней. Эта мысль глубоко укоренена в его творениях, проходя через них яркой нитью.

Классический пример Татьяны, во имя святости супружеского долга отвергшей Онегина и заглушившей еще не угасшую любовь к нему в сердце, останется всегда образцом истинно-православного отношения к браку, навеки соединяющему «во едину плоть» мужа и жену, и нерасторжимому по самой своей природе.

Не только Татьяна, но и ее мать Ларина и ее няня соединены были по воле родителей с нелюбимыми супругами, однако остались им верными на всю жизнь во имя данного перед Богом обета.

«Да как же ты венчалась, няня?
– спросила юная Татьяна,
«Так, видно, Бог велел».

(Евгений Онегин, гл. III, XVIII).

Мария Кирилловна Троекурова также проявила большую нравственную доблесть, отказавшись покинуть кн. Верейского, с которым была только что против воли повенчана, сколько ни настаивал на этом Дубровский, явившийся ее освобождать. «Вы свободны», – сказал последний. «Нет, – отвечала она, – поздно. Я обвенчана, я жена князя Верейского». «Что вы говорите, – закричал с отчаянием Дубровский, – нет, вы не жена его, вы были приневолены, вы никогда не могли согласиться». «Я согласилась, я дала клятву, – возразила она с твердостью, – князь мой муж, прикажите освободить его и оставьте меня с ним».

Поучительный пример патриархальных семейных добродетелей мы видим в домашней жизни Лариных (в «Евгении Онегине»), и особенно у Гриневых и Мироновых (в «Капитанской дочке»), нарисованных с особой любовью нашим поэтом.

В то же время он выносит суровое осуждение Марии Кочубей, заплатившей за незаконную связь со своим крестным отцом Мазепой позором и сумасшествием.

Пушкин оказал большое влияние на русское общество в смысле утверждения в нем здоровых и крепких семейных начал, не только своими произведениями, но отчасти и собственным примером, ибо он был нежным любящим супругом и заботливым отцом, как это видно из его писем к жене и своим друзьям. Самая ревность об охране доброго имени своей жены, повлекшая за собой его роковую дуэль и смерть, истекала из его желания сохранить незапятнанной чистоту своего семейного очага, которой он искренно дорожил.

По своему духовному облику Наталия Николаевна, казалось, вполне отвечала его семейным идеалам. Искавший везде совершенства, он верил, что «Творец ее ему ниспослал». Его пленяла в ней не только внешняя красота, но и ее исключительная правдивость, скромность и нравственная чистота, какими она украшена была в особенности в юности. С этими качествами соединялась глубокая религиозность, заимствованная ею от своей матери Наталии Ивановны Гончаровой (рожденной Загряжской), женщины тяжелого характера, но несомненно глубоко верующей, жившей, несмотря на свою светскость, в окружении монахинь и странниц. Последняя воспитывала своих дочерей почти в атмосфере монашеской строгости жизни и без-

условного послушания, что отразилось на их характере (М. Л. Гофман и Сергей Лифарь. «Письма Пушкина Н. Н. Гончаровой» и «Невеста и жена Пушкина». Очерк проф. М. Л. Гофмана, стр. 101–102). Пушкин не напрасно называл свою жену «ангелом». Ее кротость и благочестие нередко умиляли его душу; они вносили в его семейный очаг ту теплоту и благообразие, которые были необходимы для его впечатлительной, порывистой натуры и в то же время питали родники его творчества при изображении картин семейной жизни. Если она потом стала слишком увлекаться светской жизнью, то это произошло не без вины мужа, поощрявшего ее на этом пути и страдавшего от этого.

От семьи, как первой ячейки общества, естественный переход к Отечеству и Государству.

Высоко ценя и любя семейный очаг, Пушкин не мог не ценить и не любить и своего Отечества, являющегося как бы домашним очагом целого народа. Он «ни за что на свете не хотел, – как он пишет Чаадаеву, – переменить» его на какое-либо другое. Сама наша история дорога ему «как она есть, такая именно, как нам Бог ее послал». Эти последние слова, по-видимому, указывают на то, что каждый народ имеет свое предназначение и свою судьбу, предуказанную ему свыше.

Самому чувству патриотизма, имеющему общечеловеческий характер, он дает не столько психологическое, сколько религиозное обоснование.

«Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога Самого

Самостоянье человека,
Залог величия его.
Животворящия святыни!
Земля была б без них мертва,
Без них наш тесный мир – пустыня,
Душа – алтарь без Божества».

Итак, национальное бытие каждого народа, основанное на живой органической связи его настоящего с его историческим прошлым, не есть только просто факт истории: – это есть Закон Божий, воплощенный в общественной жизни человечества.

Вопреки утверждению одного исследователя, будто Пушкину близка только «светская ипостась нашей культуры», что он «чувствовал только Великую, но не Святую Русь» *, следует сказать, что он любил Единую Русь, как целостный организм, созданный ее тысячелетней историей.

«Борис Годунов» с его Пименом – это не что иное, как яркое отображение древней Святой Руси; от нее, от ее древних летописцев, от их мудрой простоты, «от их усердия, можно сказать набожности, к власти Царя, данной от Бога» он сам почерпнул эту инстинктивную народную любовь к Русской монархии и Русским государям. Его светлый трезвый государственный смысл вместе с благородной правдивостью и честностью сердца, заставлявшими его добросовестно углубляться в изучение родной истории и современной ему иноземной политической жизни, постепенно превратили в нем это полусознательное чувство в сознательное твердое убеждение.

* См. брошюру Н. А. Цурикова «Заветы Пушкина» стр. 11, в которой автор возражает по существу вышеупомянотому исследователю.

Исходя из принципа suum quique (каждому свое), он находил, что монархический образ правления – это единственный, какой подходит для России. Героическая эпоха 1812 г., осенившая своей славой его детство и юность, «наш Агамемнон», т. е. Император Александр I, который был так «велик» и так «прекрасен», как «народов друг», «спаситель их свободы», чудотворец-исполин Петр I, «могучее самодержавие» которого он воспевал в «Медном Всаднике» и «Полтаве», личное обаяние Императора Николая I – этого Государя-рыцаря, которому он считал себя так много обязанным в устройстве своей судьбы, еще более укрепили Пушкина в его монархических взглядах; он исповедывал последние и в своих стихотворениях, посвященных Императору Николаю I и Императрице Елизавете Алексеевне, и в беседах с друзьями, и в переписке с Чаадаевым, будучи уверен, что его «неподкупный голос» выражает в этом случае не только его личные мысли и чувства, но и служит «эхом Русского народа». Даже в дни своей «мятежной юности» – в период своего политического радикализма, приводившего его к столкновениям с правительством, его вольнолюбивые мечты никогда не шли далее конституционной монархии (Франк. «Пушкин, как политический мыслитель», стр. 11). Его отношение к декабристам было, как говорит последний, «сложное»: сочувствуя им в юности, он отошел духовно от них в более сознательном возрасте (там же, стр. 24).

Монархический образ мыслей Пушкина, кроме заветов истории и личного опыта, находил себе постоянную поддержку и в глубоко укорененном нравственном сознании поэта. Последнее повелительно внушало ему, как и всему Русскому народу,

что общественная и государственная жизнь должны строиться прежде всего *по Божией правде*. Формальное право, как это видно из его «Разговора с Англичанином», далеко не всегда обеспечивает свободу и правду в общественных отношениях. Совесть – этот неумытный судия, в голосе которой он, по собственному его признанию Тургеневу, услышал и «познал Бога», совесть, дающая непоколебимый душевный покой одним и терзающая «как когтистый зверь» других, будь это согрешивший царь или покрытый злодеяниями, как проказой, разбойник, эта совесть должна быть главной руководительницей людей в их личной, общественной и государственной жизни. А так как носителем и олицетворением совести для целого народа может быть только живая человеческая личность, то верховная власть, должна быть воплощена в Государе. Полемизируя с Чаадаевым, он перечисляет заслуги Государей, создавших величие нашего Отечества. Царь для него – источник и залог «славы и добра» для своего народа. Он служит орудием Промысла, ведущего нашу историю, и действует иногда как «свыше вдохновенный», каким был Петр на поле Полтавской битвы. Только «по манию Царя», могло пасть, по его убеждению, крепостное право, и история, как мы знаем, оправдала эту надежду. Проф. Франк, взявший на себя задачу изучить историю политического развития Пушкина на основании его произведений и существующих биографических данных, приходит к определенному заключению, что в пору своей зрелости Пушкин был убежденным монархистом и притом сторонником самодержавной монархии, хотя и с расширенным против обычного пониманием личной свободы ее граждан (там же, стр. 31, 36). Всегда трезвый и искренний, он стал «певцом рус-

ской государственности» и в то же время отвращался от демократии, которой он приписывал «отвратительный цинизм, жестокие предрассудки, нестерпимое неравенство и эгоизм, подавляющий все благородное, все бескорыстное, все возвышающее душу человеческую». Он видел в ней «большинство, нагло притесняющее общество» (Джон Теннер, 1836).

Уравнительный принцип был чужд его аристократической душе, высоко ценившей личное творческое начало в строительстве культурной и общественной жизни. «В сущности неравенство есть закон природы», – говорил Пушкин. «Историю творят «единицы», т. е. человеческая личность, а не народные массы» (Франк, стр. 32). Признание полной свободы человеческой личности, которая не может быть подавлена или связана никаким насилием и без которой невозможно нравственное преуспеяние общества, вызывало в нем глубокое отвращение ко всяким насильственным общественным переворотам. Французская революция с ее кровавым террором, поправшим всякую свободу и не пощадившим даже поэта Андрея Шенье, которого Пушкин оплакивал в посвященном ему стихотворении, была столь же «ненавистна» ему, как и «русский бунт бессмысленный и беспощадный». И стоя уже на краю гроба, он оставляет через своего героя Гринева следующий незабываемый завет русскому народу: «Молодой человек, если записки мои попадут в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения общественных нравов без всяких насильственных потрясений». Ту же мысль, почти в тех же выражениях, он высказывает в «Мыслях на дороге»; отсюда мы видим, что этот глубоко христианский взгляд на пути и способы, обуславлива-

ющие усовершенствования человеческого общества, был крепким, непоколебимым убеждением нашего великого национального поэта.

Таков духовный облик Пушкина, как он определялся к 30 годам его жизни. Его мировоззрение отличалось тогда уже полной законченностью и последовательной цельностью; таким оно проявилось и в его творениях, и в жизни: он везде оставался верен себе, и как поэт, и как человек. Русское национальное самосознание проникало его насквозь. И так как оно неотделимо от православного миропонимания, то естественно, что в нем осуществился органический союз той и другой стихии; чем более он был русским по душе, тем ярче в нем сквозило сияние нашей православной культуры. Дух последней отпечатлелся на нем гораздо глубже, чем может быть сознавал он сам и чем это казалось прежним его биографам. Наш поэт невольно излучал из себя ее аромат, как цветок, посылающий свое благоухание к небу.

Пушкин не был ни философом, ни богословом и не любил даже дидактической поэзии. Однако он был мудрецом, постигшим тайны жизни путем интуиции и воплощавшим свои откровения в образной поэтической форме. «Златое древо жизни» ему, как и Гете, было дороже «серой» теории, и хотя он редко говорит нарочито о религиозных предметах, есть «что-то особенное нежное, кроткое, *религиозное*, в каждом его чувстве», как заметил еще наблюдательный Белинский. Этой своей особенностью и влечет к себе его поэзия, которая способна скорее воспитывать и оживлять религиозное настроение, чем охлаждать его.

Все, что отличает и украшает Пушкинский гений – его необыкновенная простота, ясность и трезвость,

«свободный ум», чуждый всяких предрассудков и преклонения пред народными кумирами, правдивость, доброта, искренность, умиление пред всем высоким и прекрасным, смирение на вершине славы, победная жизнерадостная гармония, в какую разрешаются у него все противоречия жизни – все это несомненно имеет религиозные корни, но они уходят так глубоко, что их не мог рассмотреть сам Пушкин. Мережковский прав, когда говорит, что «христианство Пушкина естественно и бессознательно» («Вечные спутники», стр. 129). О нем можно кажется с полным правом сказать, что душа его по природе христианка: Православие помогло ему углубить и укрепить этот прирожденный ему высокий дар, тесно связанный с самым его поэтическим дарованием. По свидетельству Мицкевича, который сам отличался большой религиозностью, Пушкин любил рассуждать о высоких *религиозных* и общественных вопросах, о которых и не *снилось* его соотечественникам (проф. Никольский, цит. статья, стр. 530).

Некоторые хотели бы видеть его талант более воцерковленным и сожалеют, что он не встретился лицом к лицу с таким светящим и горящим светильником благочестия в его время, как преп. Серафим Саровский. Сожалеть об этом конечно нужно, ибо непосредственное соприкосновение с этим духоносным мужем – истинным ангелом во плоти – еще более бы оплодотворило творческий гений Пушкина и настроило бы его вдохновенную лиру на еще более высокие мотивы. Но было бы, однако, несправедливо обвинять его в том, что он «не заметил великого Саровского подвижника», как это делает о. Булгаков («Жребий Пушкина», стр. 36). При тогдашних путях сообщения достигнуть до отдаленного Сарова могло также мало

зависеть от воли Пушкина, как и посетить Иерусалим и другие Святые места Востока, описание которых он «с умилением и невольной завистью» читал в книге А. Н. Муравьева.

Мы уже указали выше, что монашество в его высоких духовных устремлениях и в его обычном повседневном быту было достаточно знакомо и внутренне далеко не чуждо нашему великому поэту. Святогорский монастырь, бывший родовой усыпальницей Пушкина и находившийся в ближайшем соседстве с Михайловским, имел несомненно большое нравственное влияние на Пушкина. Во время монастырских праздников он проводил здесь целые дни, сливаясь с богомольцами и распевая народные стихи в честь святого Николая, Георгия Храброго вместе со слепцами. Вследствие близости к этой обители ему открыта была сокровенная внутренняя жизнь его насельников. Из этой последней он несомненно взял непосредственный материал для создания своего Пимена, дополнив его летописными сказаниями и житийными образами Четьих-Миней.

Пимен, как мы уже говорили выше – это не только классический тип древнего летописца, но вместе с тем воплощение идеала старца-подвижника, достигшего бесстрастия и высокого духовного просветления. Он велик своей прозрачной ясностью, простотою и естественностью, как и все другие гениальные создания нашего поэта и потому представляется нам гораздо более родным и понятным, чем несколько искусственный и потому бледный облик старца Зосимы с его малоестественным внезапным нравственным перерождением и сентиментально-мистическими поучениями, мало доступными народному сознанию.

В отличие от последних, уроки, которые Пимен

дает своему мятежному, обуреваемому страстями, ученику Григорию Отрепьеву, дышат истинной духовной мудростью, миром и старческой прозорливостью. Их диалог напоминает страницы древнеотеческой литературы.

Григорий

Ты все писал и сном не позабылся,
А мой покой бесовское мечтанье
Тревожило, и враг меня мутил.

Пимен

Младая кровь играет.
Смиряй себя молитвой и постом,
И сны твои видений легких будут
Исполнены.

Григорий. Как весело провел свою ты младость!

. . . .

Успел бы я, как ты, на старость лет
От суеты, от мира отложиться,
Произнести монашества обет
И в тихую обитель затвориться.

Пимен. Не сетуй, брат, что рано грешный свет
Покинул ты, что мало искушений
Послал тебе Всевышний. Верь ты мне,
Нас издали пленяет слава, роскошь
И женская лукавая любовь,
Я долго жил и многим насладился,
Но с той поры лишь ведаю блаженство,
Как в монастырь Господь меня привел.

Насколько идеал отрешенного созерцательного настроения был духовно сроден Пушкину, об этом можно судить по тому, что самый образ поэта запечатлен у него своеобразными аскетическими чертами. Поэт, как орел, парит и царит над миром. Ему чужды забо-

ты о «нуждах низких жизни», о практической «пользе» и даже о нарочитом нравственном поучении ближних. «Служение муз» требует самоуглубления и потому «не терпит суеты». Поэт есть «сын небес», – не «червь земли». Его призвание есть служение жреца, который не может «забыть алтарь и жертвоприношенье» для метлы, чтобы «сметать сор с улиц шумных». Осененный вдохновеньем, он бежит «дикий и суровый» «на берега пустынных волн, в широкошумные дубровы».

«Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв».

В этих замечательных словах Пушкина, являющихся его поэтической исповедью, он не только напоминает Гете, видевшего назначение поэта в постоянном созерцании Божественного Лика, но является помимо своей воли созвучным аскетическому мировоззрению древних подвижников, искавших прежде всего безмолвия в отъединении от мира. Исполненные любви и смирения, последние были, конечно, далеки от гордого аристократизма, который сказывается в презрительных словах поэта, служащих эпиграфом для его стихотворения «Чернь»: Procul este profani. Но они также ставили созерцание небесных красот выше «внешнего делания», к которому они относили и деятельное служение ближним. Этот последний подвиг доступен многим, а чистое созерцание горнего мира, являющееся венцом иноческого пути, есть удел избранных.

«Господь, – пишет наиболее яркий представитель этого направления иноческой жизни Исаак Сирин, – оставил Себе одних для служения Ему посреди мира

и для попечения об Его чадах, других избрал для служения пред Ним. Можно видеть различие чинов не только при дворах земных царей, где постоянно предстоящие лицу царя и допущенные в его тайны славнее тех, которые употреблены для внешнего служения – это же усматривается и у Небесного Царя. Находящиеся непрестанно в таинственном общении и беседах с Ним молитвой – какой свободный доступ стяжали к Нему!» «Проводящим жительство в чине ангельском, в попечении о душе, не заповедано благоугождать Богу попечением житейским, т. е. заботиться о рукоделии, принимать от одних и подавать другим. И потому не должно иноку иметь попечения о чем-либо колеблющем ум и низводящем его от предстояния пред лицом Божиим». «Когда придет тебе помышление вдаться в попечение о чем-либо по поводу добродетели, от чего может расточиться тишина, находящаяся в твоем сердце, тогда скажи этому помышлению: хорош путь любви и милости ради Бога, но и я ради Бога не желаю его» (Слово 14).

Однако это не значит, конечно, что подвижник думает только о личном спасении и нерадит о ближних. Чем более иноки приближаются к Богу, тем яснее они объединяются сердцем со своими братьями, хотя бы и удаленными от них пространством. Возносясь в заоблачный мир, эти герои духа всех поднимают к небесам с собою, и самый пример их высокой «ангельской» жизни, и их горящая молитва являются лучшим благословением для мира.

То же в известной степени можно сказать и о поэте. В приливе вдохновенья он чувствует трепетно «приближение Бога», как это художественно изобразил Пушкин в своих «Египетских ночах», и тогда он,

отрешаясь от земли, невольно влечет с собою читателя к горним высотам.

Самое восприятие мира у поэта, как и у подвижника, носит созерцательный характер. Гений также зрит идеальный мир, хотя и далеко не с такой ясностью и уверенностью, как благодатный аскет, у которого «вéдение переходит в видение молитвы» по словам того же Исаака Сирина. Диапазон духовного слуха Пушкина был очень широк: он слышал и «дольней розы прозябанье, и неба содраганье, и горний ангелов полет».

В таинственных глубинах поэтического наследства Пушкина до сих пор еще много не вполне разгаданных уроков духовной мудрости. Кто такая например, «Смиренная, величавая жена, приятным сладким голосом» беседовавшая с поэтом и его сверстниками в детстве?

Смущенный «строгою красою ея чела и полными святыни словесами», он, однако, превратно толковал «про себя» последние и убегал от нее в чужой сад, чтобы созерцать «двух бесов изображенья», влекших к себе его юное сердце своею «волшебною красотою» – «лживых и прекрасных» в одно и то же время. Мережковский (в «Вечных спутниках») в этой строгой и величественной Наставнице видит Добродетель, а Митрополит Антоний склонен был разуметь под нею даже вечную Учительницу людей – Церковь, урокам которой неохотно внемлет юность. Вопреки ее предостережениям, последняя в минуту искушения нередко подменивает истинную вечную красоту обольстительным призраком. К концу жизни его духовное зрение особенно изощрилось и углубилось. Барант был поражен возвышенностью и проницательностью его суждений по ре-

лигиозным вопросам. Одной из последних его записей, связанных с мыслью о переезде в деревню, была: «Религия. Смерть». Очевидно эти два предмета, тесно связанные в его представлении, глубоко занимали его внимание в то время, как его внешняя жизнь кружилась в вихре светской суеты. Разлад между внешним и внутренним человеком все ярче ощущался им по мере приближения к своему исходу. Он рвался из этих гнетущих мелочей жизни, как лев из сетей, всячески стремился сбросить с себя бремя «забот суетного света», но не мог. В этом была трагедия последних дней его жизни. В нем действительно было как бы две души, которые рвались врозь и жаждали разделения. Роковая дуэль с Дантесом, на которую он решился с такой легкостью и даже некоторой видимой поспешностью, и была болезненной попыткой найти какой-нибудь исход из своего невыносимого, как ему казалось, положения. Это был почти порыв отчаяния. Лучше смерть, чем такая жизнь – вот что означал вызов, брошенный им не только Дантесу, но и самой своей судьбе. Вместе с тем совесть, этот «незванный гость, докучный собеседник», не переставала терзать его сердце, все еще не освободившееся от власти страстей, которые он ощущал как неискупленный грех. Очевидно ему нужно было пройти сквозь какое-то огненное горнило, пережить какое-то глубокое нравственное потрясение, чтобы возродиться духовно и очиститься от всех нравственных приражений, тяготивших его душу. Таким очистилищем и явились для него тяжкие предсмертные страдания, последовавшие за его несчастной дуэлью. Мы не будем останавливаться на истории последней. Она слишком известна. Кажется, ни о чем не писали так много и с такими скрупулезными подробностями, как об этом ро-

ковом событии в его жизненной судьбе. Нам важно лишь установить, какие последствия она имела для его духовной жизни, достигшей большой высоты в последние дни его бытия на земле. Сознание близости смерти, когда он стоял пред нею лицом к лицу, после полученного им ранения, не смутило его духа. Он давно уже чувствовал, что она, как тень, идет за ним по пятам, и давно уже приготовил себе могилу рядом с матерью в Святогорском монастыре. Но смерть не сразу пришла к нему. Если бы он пал на месте поединка или тотчас же после него, то он не только ушел бы из мира с неискупленной виной за свою дуэль, но унес бы с собой действительно неутолимую «жажду мести», как сказал о нем Лермонтов.

Бог оставил ему еще два дня (45 часов) жизни для искупления своего греха и достойного приготовления к вечности. Это было для него подлинно милость Божия, которую не мог не оценить он сам. Как только определилась безнадежность его положения, его домашний доктор Спасский предложил ему исполнить последний христианский долг. Он тотчас согласился.

«За кем прикажете послать?» – спросил он. «Возьмите первого ближайшего священника».

Послали за отцом Петром, священником Конюшенной церкви, той самой, где потом 1 февраля отпевали поэта. Старик священник немедленно исповедал и приобщил больного (Словцов. «Последние дни Пушкина». «Последния новости» № 3801). Он вышел от последнего глубоко растроганный и потрясенный и со слезами рассказывал Вяземскому о «благочестии, с коим Пушкин исполнил долг христианский». То же подтверждает и рассказ Кн. Мещерской-Карамзиной, записанный у Я. Грота: «Пушкин исполнил долг хри-

стианский с таким благоговением и с таким глубоким чувством, что даже престарелый духовник его был тронут и на чей-то вопрос по этому поводу ответил: “Я стар, мне уже недолго жить, на что мне обманывать? Вы можете мне не верить, но я скажу, что для самого себя желаю такого конца, какой он имел”». Кто действительно дерзнет заподозрить искренность этого свидетеля, который один входил во святая святых души великого поэта в то время, когда он стоял на грани вечности?

Раненый Пушкин был привезен в свою квартиру на Мойке 27 января в 6 часов вечера, а только около полночи Арндт привез ему известную записку Государя: «Если Бог не велит нам более увидеться, прими мое прощение, а с ним и мой совет окончить жизнь христианином. О жене и детях не беспокойся. Я их беру на свое попечение».

Следовательно сама собой отпадает легенда, долго поддерживавшаяся некоторыми биографами Пушкина, будто он причастился пред смертью только по настоянию Императора Николая I. Он принял напутствие по собственному желанию и притом с таким глубоким и искренним чувством, какое умилило его духовного отца.

Вяземский, в своем письме к А. Я. Булгакову, описав этот трогательный момент, поясняет, что он не явился для друзей поэта неожиданностью. «Пушкин никогда не был esprit fort, по крайней мере, не был им в последние годы своей жизни; напротив, он имел сильное религиозное чувство: читал и любил читать Евангелие, был проникнут красотой многих молитв, знал их наизусть и часто твердил их.

Страдания Пушкина по временам переходили меру

человеческого терпения, но он переносил их, по свидетельству Вяземского, с «духом бодрости», укрепленный Таинством Тела и Крови Христовых. С этого момента началось его духовное обновление, выразившееся прежде всего в том, что он действительно «хотел умереть христианином», отпустив вину своему убийце. «Требую, чтобы ты не мстил за мою смерть. Прощаю ему и хочу умереть христианином» – сказал он Данзасу.

Утром 28 января, когда ему стало легче, Пушкин приказал позвать жену и детей. «Он на каждого оборачивал глаза, сообщает тот же Спасский, клал ему на голову руку, крестил и потом движением руки отсылал от себя». Плетнев, проведший все утро у его постели, был поражен твердостью его духа. «Он так переносил свои страдания, что я, видя смерть перед глазами, в первый раз в жизни, находил ее чем-то обыкновенным, нисколько не ужасающим».

Больной находил в себе мужество даже утешать свою подавленную горем жену, искавшую подкрепления только в молитве: «Ну, ну, ничего, слава Богу, все хорошо».

«Смерть идет», – сказал он наконец. «Карамзину!» Послали за Екатериной Андреевной Карамзиной.

«Перекрестите меня», – попросил он ее и поцеловал благословляющую руку.

На третий день, 29 января силы его стали окончательно истощаться, догорал последний елей в сосуде.

«Отходит», – тихо шепнул Даль Арндту. Но мысли его были светлы... Изредка только полудремотное забытие их затуманивало. Раз он подал руку Далю и, подымая ее, проговорил: «Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше, ну, пойдем».

Душа его уже готова была оставить телесный сосуд и устремлялась ввысь. «Кончена жизнь», – сказал умирающий несколько спустя и повторил еще раз внятно и положительно: «жизнь кончена». «Дыхание прекращается», и, осенив себя крестным знамением, произнес: «Господи, Иисусе Христе» (Прот. И. Чернавин, «Пушкин, как православный христианин», стр. 22).

«Я смотрел внимательно, ждал последнего вздоха, но я его не заметил. Тишина, его объявшая, казалась мне успокоением. Все над ним молчали. Минуты через две я спросил: "Что он?" – "Кончилось", – ответил Даль. Так тихо, так спокойно удалилась душа его. Мы долго стояли над ним молча, не шевелясь, не смея нарушить великого таинства смерти».

Так говорил Жуковский, бывший также свидетелем этой удивительной кончины, в известном письме к отцу Пушкина, изображая ее поистине трогательными и умилительными красками. Он обратил особенное внимание на выражение лица почившего, отразившее на себе происшедшее в нем внутреннее духовное преображение в эти последние часы его пребывания на земле.

«Это не был ни сон, ни покой, не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу, не было тоже выражение поэтическое. Нет, какая-то важная, удивительная мысль на нем разливалась: что-то похожее на видение, какое-то полное, глубокоудовлетворенное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить – что видишь, друг?»

Так очищенная и просветленная душа поэта отлетела от своей телесной оболочки, оставив на ней свою печать – печать видений иного, лучшего мира. Смерть запечатлела таинство духовного рождения в новую

жизнь, каким окончилось его короткое существование на земле.

При своем закате он, как солнце, стал лучше виден, чем при своем восходе и в течение остальной жизни. «Великий духовный и политический переворот нашей планеты есть Христианство», – сказал он (в своем отзыве об «Истории Русского народа» Полевого). «В этой священной стихии исчез и обновился мир». Это мудрое изречение оправдалось и над ним самим. Возрожденный духовно той же благодатной стихией, он отошел от земли, как «отходили» до него миллионы русских людей, напутствованных молитвами Церкви: мирно, тихо, спокойно, просто и величественно вместе, благословляя всех примиренным и умиротворенным сердцем.

Всепрощающая любовь и искренняя вера, ярко вспыхнувшая в его сердце на смертном одре, озарили ему путь в вечность, сделав его неумирающим духовным наставником для всех последующих поколений. Нравственный урок, данный им Русскому народу на краю могилы, быть может превосходит все, что оставлено им в назидание потомству в его бессмертных творениях. Христианская кончина стала лучшим оправданием и венцом его славной жизни.

«Милосердия надеюсь,
Успокой меня, Творец!»

Эти слова, написанные им в предвидении своей смерти, быть может были и последней его молитвой в то время, когда душа его отделялась от тела.

Тот, кто возлюбил много, мог надеяться, что ему отпустится много, после то́го, как он принес искреннее раскаяние во всем перед лицом гроба.

«Чудный сон», предваривший его кончину, исполнен был пророческого значения. Бесприютный «Странник», скитавшийся в одиночестве в этом мире, «объятый скорбию великой» и заранее обреченный на смерть, нашел наконец «спасения тесный путь и узкие врата».

Через них он вошел в Царство света, чтобы обрести мир и покой и воочию узреть Первообраз вечной Истины и Красоты, лучи которого он прозирал еще на земле в минуты высоких духовных озарений своего гениального творчества.



Конец, и Богу нашему слава!



Блаженнейший Митрополит Анастасий (Грибановский) родился в 1873 г. В 1898 г., по окончании Духовной Академии, был пострижен в монашество с именем Анастасий.



Хиротонисан во епископа Серпуховского в 1906 г. В 1916 г. возведен в сан Архиепископа. Возглавлял комиссию по устройству торжества избрания и интронизации Патриарха во время Всероссийского Поместного Собора. Был избран членом Священного Синода и Высшего Церковного Совета. Покинув родину после захвата власти большевиками, до конца жизни трудился для собирания русского рассеяния в соборе Русской Православной Церкви Заграницей. В 1935 г. он был возведен в сан Митрополита. После кончины Блаженнейшего Митрополита Антония возглавлял РПЦЗ 28 лет, и почил о Господе 9/22 мая 1965 г.

Читатель найдет в книге Митроп. Анастасия о А. С. Пушкине, написанной великолепным русским языком, блестящий анализ творчества поэта. Но не в этом главная ценность данной работы. Прослеживая жизнь Пушкина от "мятежной юности" до мирной христианской кончины, автор показывает, как совершенствовалось дарование поэта по мере возрастания и утверждения его в православной вере.

Книга о Пушкине написана не филологом, а мудрым архипастырем Православной Церкви, потому завершается она совсем не литературоведческим выводом: лучшим оправданием жизни великого поэта стало не его поэтическое наследие, а христианская кончина, поэтому "нравственный урок, данный им Русскому народу на краю могилы, быть может превосходит все, что оставлено им в назидание потомству в его бессмертных творениях".

ISBN: 3-9261-65-96-3